Аркадий ВАКСБЕРГ

ПЛЕШЬ ИЛЬИЧА

и др.

рассказы адвоката

Аркадий Иосифович Ваксберг
Плешь Ильича и др. рассказы адвоката

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22960248
Плешь Ильича и др. рассказы адвоката: Человек; Москва; 2008
ISBN 978-5-903508-37-2

Аннотация

Новая книга Аркадия Ваксберга – известного писателя, журналиста, юриста, историка – содержит остросюжетные рассказы, написанные на основе подлинных дел, в которых автор, на протяжении двадцати лет проработавший адвокатом, принимал участие сам. В рассказе нет ни одной придуманной детали, нет даже самого малого домысла, но эти взятые из жизни истории своей увлекательностью могут поспорить с лучшими художественными детективами. Открыв эту книгу, вы уже не сможете отложить ее, не дочитав последней строки.

Содержание

Мертвый узел 10
Страсти по Саломее 48
Первая командировка 64
Петушок 88
Плешь Ильича 116
Кольцо 137
Конец ознакомительного фрагмента. 142

Аркадий Ваксберг
Плешь Ильича и др. рассказы адвоката

© Ваксберг А. И., 2008
© Издательство «Человек», оформление, издание, 2008

* * *

Безумно давно, когда я только начал работать в адвокатуре, и даже, пожалуй, еще раньше, когда к этой работе, под влиянием мамы, я стал проявлять осмысленный интерес, была заведена папка, где собирались и хранились мои записи о разных событиях и конфликтах, которые были услышаны в зале суда. Или в комнате-клетушке юридической консультации, где я принимал своих клиентов. Или просто записанные мною, иногда конспективно, рассказы моих коллег. Торопливые наброски с кратким изложением фабулы дела. Целиком или хотя бы в пространных выдержках материалы из адвокатских досье. Почти дословно воспроизведенные диалоги судьи с подсудимыми и свидетелями. Пререкания участников процесса во время перекрестных допросов – ни на что не похожий сленг далекой эпохи. Отдельные реплики, по которым легко восстановить стершиеся в памяти детали, но

главное – воссоздать галерею портретов той далекой эпохи. Ее социальные типажи.

Словом, всякая всячина…

Папка пухла, полнела, доросла, наконец, до таких размеров, что не сходились тесемки. Пора было уже завести вторую, только и всего. Но вместо этого я почему-то вообще бросил ее пополнять. Ведь собирать такой раритет можно до бесконечности. И, стало быть, никаким раритетом ее содержимое попросту не было: «случаев из жизни» превеликое множество, их коллекционирование лишено и смысла, и цели.

Смысл, однако же, был. И цель была тоже, хотя до поры до времени я ее для себя не формулировал. Но, как видно, держал в голове. Устные рассказы о том, что привелось мне услышать в зале суда, о судебных драмах, к которым я сам зачастую имел прямое касательство, пользовались неизменным успехом у моих друзей и знакомых. Мне доставляло, я думаю, удовольствие видеть их лица, внимавшие с таким упоением этим рассказам, чувствовать себя в центре внимания: нормальное, наверно, тщеславие слишком восторженного, чтобы не сказать легкомысленного, никак не мужающего мальчишки. К тому же я был уже и тогда «пишущим» человеком – мысль о том, что «про это» можно рассказывать и не только устно, несомненно, руководила мною, когда я с плюшкинским старанием заводил и пополнял свой архив. Услышав как-то в Тарусе мои адвокатские рассказы и зная

про графоманские претензии их автора, Константин Георгиевич Паустовский предупредил меня: «Над вами нависла угроза выболтаться. Даже самые замечательные рассказчики, которых я знал, к сожалению, не преуспели в литературе». Даже самые замечательные! Что же тогда говорить про не самых?..

Именно под влиянием этой, вскользь брошенной, реплики Паустовского я перестал «держать трибуну» в застольях или на пляже, попробовав кое-что из распухшей папки перенести на бумагу. Потом жизнь повернула мое перо совсем в другую сторону. Журналистские сюжеты властно оттеснили адвокатские, притом на долгие годы. Лишь недавно, перебирая свой огромный архив, я наткнулся на ту старую папку, развязал тесемки, и оттуда вывалилась не просто куча пропыленных и пожелтевших бумаг, но – время. Пахнуло историей. Ожили – в неожиданном ракурсе – неповторимые приметы ушедшей эпохи. Занятные, как мне кажется, не только тем, насколько они созвучны нашим реалиям, но и сами по себе. Как таковые…

Я почувствовал, что мне просто хочется о них рассказать. Без дополнительных объяснений почему и зачем. Хочется, и все! Будет просто обидно, если сюжеты, непроизвольно рожденные жизнью, так и утонут в архивной пыли. Тем более что кроме меня, о них никто никогда не расскажет: лишь моя память сможет как-то их оживить. И, значит, добавить хотя бы несколько штришков к той панораме, которая с разных сто-

рон – и по-разному – отражает жизнь ушедших десятилетий.

Из огромного количества сюжетных коллизий, хранящихся в папке, я отобрал лишь несколько, не имея при этом какой-либо сверхзадачи. Единственный критерий: мне самому это, это и еще вот это кажется интересным. Ибо, если автору интересно писать, есть надежда, что и читателю будет интересно читать. А если неинтересно и автору, то надежды нет никакой… Так что какой-либо заданности – отыскать сюжеты, непременно перекликающиеся с нашей нынешней злободневностью, – у меня не было. Перекликнется – замечательно. Не перекликнется – сойдет и такой… В том-то, увы, и беда, что все они так или иначе «звучат» и сегодня: эпохи меняются, а страсти, толкающие людей на немыслимые, казалось бы, поступки, остаются все теми же. Оттого и вызывают наше сопереживание – спустя не только десятилетия, но и века.

В рассказах, которые вы прочитаете, нет ни одной придуманной детали, нет даже самого малого домысла. Разве что диалоги, которые восстановлены мною по памяти или реконструированы по записям, сделанным некогда второпях. Только некоторые подлинные имена заменены вымышленными или вообще не названы – по этическим соображениям. В этой непридуманности есть свои достоинства, но есть, конечно, и недостатки. И об этом в иных рассказах будет сказано еще не однажды. Автору, тем более если набита рука, под силу сделать необструганный литературно сюжет бо-

лее достоверным, освобождая его от внутренних противоречий, выпирающих углов, немотивированных шагов, излишних подробностей. Делая его логичным и ловко сколоченным. Реальная жизнь, суматошная и хаотичная, этого всего лишена, в ней множество незалатанных швов, не пригнанных друг к другу зазоров, нестыкующихся поступков, неразвязанных узлов. Для того чтобы стать фактом литературы, все должно быть залатано, пригнано и развязано. И, как положено каждой, профессионально написанной пьесе, ружье, повешенное в первом акте, непременно должно выстрелить в последнем. В иных рассказах ничего этого не будет, ружье не выстрелит, как бы самому автору того ни хотелось, так что фактом литературы они, вероятно, не станут.

Это меня не пугает. Напротив, я сознательно шел на это. Я оставил все таким, каким оно действительно было. Точнее – таким, каким отложилось в памяти или запечатлено в тех набросках, которые сделаны были когда-то по горячим следам. Без потребности выстроить литературный сюжет по отработанным и весьма уважаемым мною правилам сюжетостроения. Ничего не стоило что-то досочинить, что-то подправить, чтобы выглядело привычней, похожей, дописать финал, которого автор, зажатый в рамках того, что было, а не того, что могло и должно было бы быть, просто не знает. И даже не может знать, ибо ни в памяти, ни в папке никаких следов сюжетной развязки не оказалось. Наблюдательными людьми давно подмечено, что только выдумка похожа

на правду, ибо она специально сконструирована – так, чтобы сойти за истину. Подлинная же правда никогда таковой не выглядит – из нее выпирает то одно, то другое несоответствие привычным, легко узнаваемым схемам и стереотипам. Кроме того, срабатывает известный «механизм сомнения» – так я называю этот привычный синдром: «Не может быть! Этого не бывает!» И чем больше подлинности в выхваченном из жизни, непридуманном сюжете, тем менее достоверным он выглядит. Такой вот парадокс, с которым надо бы, наверно, считаться. Я не посчитался. И не жалею об этом.

Рассказы, собранные в книге, – не все, но иные из них, – как черепки сосудов или обломки построек, которые находят археологи во время своих раскопок. По каким-то из них можно восстановить весь сосуд и все здание. Другие так обломками и остаются, но и по ним все равно можно судить о времени, к которому они принадлежали.

Извлечь из забвения эти обломки, сдуть с них пыль и представить читателю в их натуральном виде – только этого мне и хотелось. А додумать, восполнить недостающие детали, вообразить, каким мог быть и, наверное, был отсутствующий финал, – все это читатель сделает сам. Без меня. Фантазии, думаю, хватит.

Мертвый узел

Телефонный звонок разбудил меня в два часа ночи. Я не удивился. Еще не подняв трубку, я знал, кто звонит. По ночам мне звонил только один человек – Илья Давидович Брауде. Казалось, он никогда не спал. Он мог позвонить и в два, и в три часа ночи. Увлекшись каким-либо делом и готовясь к выступлению, он забывал о времени. Когда ему не терпелось поделиться удачной находкой, или неожиданной мыслью, или просто интересным сюжетом, который ему попался в суде, он звонил своим молодым коллегам. Именно молодым – он любил их. Он никогда не называл их учениками. Помощники, говорил он.

Мне посчастливилось два года, до самой смерти Ильи Давидовича, быть одним из его помощников. В своей мемуарной книге «Моя жизнь в жизни» я довольно подробно рассказал о нем и о некоторых делах, которые он вел с моим, весьма скромным, участием. Поэтому здесь представлю его очень коротко.

Еще полвека назад имя Ильи Брауде в рекомендации не нуждалось: как ни замалчивалась тогда роль защитника в уголовном процессе, как ни старались партийные журналисты представить адвокатов чуть ли не сообщниками преступников, этого адвоката хорошо знала страна, притом вовсе не как антигероя. Известность пришла к нему не пото-

му, что, сочиняя сценарии кровавых спектаклей, вошедших в историю как московские процессы тридцатых годов (или иначе: как процессы эпохи Большого Террора), кремлевско-лубянские палачи посадили его, как пешку, перед скамьей подсудимых, чтобы поддакивал громиле Вышинскому в образе псевдозащитника. Нет, выбор пал на него как раз потому, что он был к тому времени уже хорошо известен. Популярен и уважаем. Блестящий оратор, тонкий психолог и знаток человеческой души, он ярко блеснул на судебном небосклоне двадцатых годов участием в таких уголовных делах, где требовались не только ум аналитика, позиция и дар полемиста, но еще и понимание социальных процессов, их влияния на поступки, на нравы.

Выступать вместе с ним, помогать ему готовиться к участию в деле, слушать его было редким удовольствием и отличной школой.

Начавший свою карьеру еще в так называемом «царском», то есть свободном и независимом, суде присяжных, Брауде не любил таких дел, где все ясно с первого взгляда. Он любил запутанные, загадочные, над которыми стоит помучиться, чтобы доискаться до истины, отмести все наносное и ложное, но главное – обратить свой поиск в помощь тому, чьи интересы он защищал. Всерьез, а не вроде бы…

Отмечу одну деталь, которая сегодня, мне кажется, прозвучит особенно актуально: все самые знаменитые, самые громкие дела с его участием не сулили ему ничего, кро-

ме жалких копеек, которые адвокатская коллегия, отбирая их у своих же членов, платила за осуществление принципа, записанного в демократичнейшей сталинской конституции: «каждому обвиняемому гарантируется защита в суде». «Гарантировало» ее государство, а расплачивались за фасадную «гарантию» сами же адвокаты.

Чаще всего клиентами Ильи Давидовича становились совершенно неимущие одиночки, у которых не было никого, кто мог бы о них позаботиться. В коллегию из суда приходила телефонограмма: «Требуется защитник для участия в таком-то процессе», и Брауде, с его положением и авторитетом, всегда имел внеочередное право выбора. Он называл это «правом первой ночи» – безошибочно отбирал все самое интересное, отлично сознавая, что оно-то и обеспечит ему славу, а, значит, в конце концов, клиентуру. Отбирал то, чем мог бы увлечься, а не просто «исполнить свой долг» и заработать.

Дело, ради которого он мне тогда позвонил, было как раз из этого ряда.

– Надо поломать голову, – сказал он, не вдаваясь в объяснения, той ночью. – Приезжай завтра в горсуд. В десять часов. Смотри не опаздывай.

«Завтра» уже наступило – до утра не спалось. Я приехал ровно в десять. Илья Давидович ждал меня, вышагивая по коридору и размахивая левой рукой. Была у него такая привычка – размахивать левой рукой. Он почему-то был убеж-

ден, что это помогает сосредоточиться. И плодотворнее думать…

В то утро ему было над чем подумать: некто Василий Стулов, обвинявшийся в убийстве, упорно отрицал какую-либо причастность свою к преступлению, как, впрочем, и сам его факт, хотя десятки, буквально десятки, серьезнейших улик, собранных в двух томах судебного дела, неопровержимо, казалось, подтверждали доказанность предъявленного ему обвинения.

Это было загадкой.

Загадкой, потому что возражать было чистой бессмыслицей. Улики окружали его со всех сторон. Он был скован ими, как железной цепью. И все-таки он возражал. «Я не виновен», – говорил он.

Предстоял увлекательный поединок, потому что обвинение было мощно оснащено, а Брауде связан позицией своего подзащитного: поскольку тот вину отрицал, адвокат не мог ее самовольно признать – он не обвинитель и не судья.

Значит, в безнадежной, безвыходной ситуации ему предстояло отыскать хоть какой-нибудь выход. Тот, которого не было. Причем не формальный, не мнимый, а убедительный. Так должен был в подобном случае поступить любой адвокат. Тем более – Брауде: его имя, его репутация, его тщеславие, если хотите, исключали возможность выглядеть жалким.

Марию Васильевну Лазареву бросил муж – человек, которого она любила, к которому привязалась за четверть века супружеской жизни и в верности которого ни разу не имела повода усомниться. А он ушел – к той, с которой, как оказалось, втайне встречался уже не один год.

Лазарева остро переживала и сокрушивший ее обман, и внезапно пришедшее к ней одиночество. Она разменяла уже «полтинник», иллюзий никаких не питала, хорошо сознавая, что начать все сначала уже не удастся. Вся ее жизнь была целиком посвящена человеку, который ее предал, – только теперь вдруг обнаружилось то, чего она раньше не замечала: рядом нет ни родных, ни друзей.

Знакомым и сослуживцам сказала, что – овдовела. Не в том смысле, что – обманула, ввела в заблуждение. Нет, про то, что стряслось с ней на самом деле, все знали и так. «Он для меня умер», – говорила Лазарева про сбежавшего мужа – это давало ей право, полагала она, именоваться вдовой. Когда боль притупилась, когда жизнь опять стала брать свое, она, знакомясь и коротко представляясь, о себе говорила: «вдова». Иногда добавляла: «веселая». Оперетку Легара «Веселая вдова» как раз поставили тогда в театре, она шла с огромным успехом – немудреный намек разгадывался всеми и без труда.

Цель, какую она поставила перед собой, была самой банальной. Вполне житейской и объяснимой. Найти человека, который тоже страдает! Нуждается в помощи. Одиночку, ко-

торому нужен домашний очаг. Уют и тепло. Мужчина ли, женщина – значения не имело. Лишь было бы с кем развеять тоску и наполнить каким-то смыслом свою жизнь.

Так появился в большой коммунальной квартире новый жилец, которому Лазарева сдала за бесценок крохотный угол: продавленный узкий диван да две полки в общем комоде.

Это был здоровый, богатырского телосложения бездельник с холеным, упитанным лицом, лживыми глазами и дергающимся мясистым носом. Трудно представить себе человека, который вызывал бы сострадания и жалости так мало, как Стулов. В лучшем случае он мог оставить людей равнодушными. У большинства вызывал отвращение. У некоторых – страх. У кого-то – насмешку. Но сострадание? Жалость? Поистине загадочен путь от бессердечия одного к сердцу другого…

Позже Лазарева писала в Киев племяннице, единственной родственнице и самому близкому человеку, которому могла рассказать все:

«Дорогая Сонюшка, открою тебе свой секрет, ты одна поймешь меня правильно. Представь себе, я вышла замуж. Конечно, без всяких этих формальностей: во-первых, в моем возрасте смешно надевать подвенечное платье, а во-вторых, мы ведь еще так и не разведены с Алексеем. Да разве дело в формальности? Лишь бы человек был хороший…

Тебя, конечно, интересует, кто мой новый муж. Симпа-

тичный, я бы даже сказала, красивый мужчина. По специальности механик, но сейчас пока не работает, не может подыскать для себя ничего подходящего. Один минус: он на десять лет моложе меня. Но я себя уговариваю, что это не имеет большого значения. А как думаешь ты? Может быть, я ошибаюсь?

Зовут моего мужа Василий Максимович. Ты даже не представляешь, какой он заботливый. На днях, например, подарил мне мои любимые духи, хотя у него денег своих совсем в обрез. Помогает убирать комнату и даже иногда, смешно сказать, готовит обед. Я подсмеиваюсь над ним и советую пойти в шеф-повары или в домработницы. А он не отвечает, молчит. Мне нравится, что он молчит. По-моему, настоящий мужчина должен быть молчаливым… И пьет совсем мало. Это в наше-то время! Следит за собой, ничего лишнего не позволяет. Друзей у него, как у меня, нет никаких. Вот такие мы бобыли, нашли друг друга…

Пожалуйста, никому из знакомых ничего не рассказывай. Я пока ни одному человеку не сказала, что вышла замуж, тебе первой. Для всех Василий считается моим жильцом. Чего стесняюсь, сама не знаю, но ты меня, Сонюшка, конечно, поймешь…

Хоть и труднее мне сейчас, потому что приходится одной зарабатывать на двоих, но в то же время и легче – все-таки появился друг…»

Было одиннадцать часов вечера, когда в коридоре коммунальной квартиры, где жила Лазарева, раздались тяжелые мужские шаги, и взволнованный голос Стулова произнес:

– Людмила, помогите!

В квартире уже спали. Но на зов о помощи откликнулись сразу. Соседка Лазаревой Людмила Матвеева и ее муж выскочили в коридор. Вскоре там собрались и другие жильцы.

Дверь в комнату Лазаревой была открыта. Слабо освещенная из глубины комнаты настольной лампой, Лазарева сидела на полу спиной к двери. Тянувшиеся от ее шеи кверху шнуры были перекинуты через крюк, на котором крепилась люстра…

С криком «повесилась!» Людмила Матвеева побежала на улицу, другие жильцы, ошеломленные неожиданностью, стояли поодаль, все еще не веря в то, что произошло. Один только Стулов проявил свойственные настоящему мужчине хладнокровие и выдержку. Он быстро отыскал пассатижи, ловко перекусил ими тянувшиеся от шеи Лазаревой шнуры и, бережно положив их на пол, начал делать искусственное дыхание.

Усилия его были тщетны. Лазарева была мертва.

Тем временем Людмила Матвеева искала на улице представителя власти: поблизости был постоянный милицейский пост, кто-то дежурил всегда, и вот надо же – как раз тогда, когда он нужен, дежурного почему-то не оказалось.

И однако же ей повезло. Минуты через две она случайно

увидела неспешно идущего по тротуару человека с погонами лейтенанта милиции. Он не стал ждать никаких разъяснений, не заставил себя уговаривать, хотя шел после службы домой. И вообще, как принято у нас выражаться, был «не по этой части»: в милиции он считался грозой спекулянтов, мошенников и воров, а «мокрыми» делами занимался кто-то другой.

Они примчались с Людмилой в квартиру минут на пятнадцать раньше, чем прибыл вызванный жильцами по телефону милицейский наряд. Лейтенант первым из должностных лиц увидел печальную эту картину. И первым – странное дело! – набрал наконец «ноль три». Странное – ибо вызвать врача в случаях, похожих на этот, вроде бы важнее всего. Вроде бы о помощи следует думать, и лишь потом – обо всем остальном.

«Скорая помощь» признала то, что было ясно и без нее. Лейтенант же на следующее утро подал начальству положенный рапорт: о том, чему он нежданно-негаданно накануне стал очевидцем. «…Принял меры к отправке в морг покончившей жизнь самоубийством гр-ки Лазаревой» – так определил он свои действия, дав тем самым первую официальную оценку того, что случилось. Она не расходилась с заключением, которое тем же утром дал дежурный судебный медик: «Смерть гр-ки Лазаревой от удушения… наступила… скорее всего, в результате… самоубийства».

На том и порешили. Труп Лазаревой был кремирован,

комнату заселили новые жильцы, а тощая папка с надписью: «Материал о самоубийстве гр-ки Лазаревой М. В.» осталась пылиться в архивном шкафу.

Дело закончилось, не начавшись.

Нет, оно не закончилось.

Прошло несколько месяцев. В прокуратуру явилась женщина, приехавшая из Киева. Это была племянница Лазаревой – та самая, которой Лазарева поверяла свои тайны. Она не верила в миф о самоубийстве. У нее были серьезные основания сомневаться в этом, и свои сомнения она не хотела держать при себе.

Когда умирает одинокий человек, нотариус производит опись всего оставшегося имущества. Если в течение определенного срока объявятся наследники, это имущество выдадут им. Если нет, оно пойдет в доход государства.

В описи имущества Лазаревой, среди разного прочего, нотариус записал: «…19. Пальто демисезонное, ношеное, серое, с пятнами бурого цвета, похожими на кровь, и со следами пыли на спине…»

Тогда на это никто внимания не обратил. Но племяннице, для которой каждая деталь полна глубокого смысла и которая пытается разгадать тайну внезапной смерти своей тети, эта короткая запись показалась весьма подозрительной.

«…У моей тети, Лазаревой Марии Васильевны, было только одно демисезонное пальто, в котором она каждый

день ходила на работу. Пальто она шила при мне позапрошлым летом, когда я у нее гостила во время отпуска. Не знаю точно, в каком ателье, – она ходила на примерки без меня, – но точно знаю, что в ателье и что портным была очень довольна… Мы с ней вместе обсуждали фасон и покупали пуговицы, потому что такие, какие были в ателье, ей не нравились…

Хочу отметить, что тетя была очень аккуратная женщина, просто исключительно чистоплотная, она следила за собой даже в самые трудные для себя дни, когда многие перестают на все обращать внимание, опускаются, а она никогда этого не позволяла, любой, кто ее хоть немного знал, может подтвердить… А в последнее время она, наоборот, вообще была на подъеме, очень старалась помолодеть, просила меня прислать рецепты, чтобы похудеть, и фасоны модной одежды для женщины средних лет… Это совершенно уму непостижимо, чтобы она вышла из дому в перепачканном кровью пальто…

Поэтому, спрашивается, если в день смерти тети, то есть когда она вышла утром и в течение дня, на пальто еще не было пятен, то откуда они появились? И когда? Может быть, по дороге домой? Каким образом? И почему она не приняла меры, чтобы их вычистить? Ведь на следующее утро ей было бы не в чем выйти на работу…»

Племянница не отвечает на эти вопросы. Она только их задает. Это ее право. Она самая близкая родственница по-

койной, она желает знать истину. Она не строит догадок, а только делится своими сомнениями.

Правда, на последний ее вопрос ответить легче всего – без всяких проверок: зачем же ей чистить пальто, если она решила покончить с собой и, стало быть, ходить на работу уже больше не собиралась? Но зато на все остальные вопросы с кондачка не ответишь. Раз есть сомнения, надо их исключить. Как говорится, внести ясность.

И вот следователь Маевский берется развеять их, эти сомнения. Задача, вроде, несложная: установить, каким образом запачкалось это пальто, и, послав в Киев ответ, заняться другими делами.

Но первые же дни приносят отнюдь не ответ, а новую кучу вопросов.

Выясняется, что бурые пятна, похожие на кровь, были не только на пальто, но и на петле из электрического шнура, которую сняли с шеи Лазаревой.

Выясняется, что такие же пятна соседи видели в тот самый вечер на полу возле двери.

Выясняется, что ковровая дорожка, всегда лежавшая на полу, от двери к кровати, в тот вечер отсутствовала, а затем и вовсе исчезла.

Выясняется, что эксперт обнаружил следы ударов тупым предметом на затылке и висках трупа, но не придал этому значения, почему-то решив, что это посмертные следы, следы от ударов трупа о пол.

Словом, выясняется, что папке с надписью «Материал о самоубийстве гр-ки Лазаревой М. В.» рано еще пылиться в архивном шкафу и что, оставив в стороне все прочие дела, надо распутывать этот клубок загадок.

Но за что уцепиться, чтобы размотать его? Нет трупа – он кремирован. Нет вещей – они распроданы, розданы, пропали. Нет даже комнаты – она отремонтирована, переоборудована и заново обставлена другими хозяевами. Время стерло в памяти свидетелей многие драгоценные подробности. Убийца – если только Лазарева была убита – наверняка постарался замести следы и подготовить противоулики.

Предстоял мучительный поиск. Долгий – и без больших шансов на успех.

Итак, Лазарева повесилась? Шнур – мы это помним – был прикреплен к крюку от люстры. Если Лазарева самоубийца, то кто его мог прикрепить? Только она сама. Высота потолка в комнате Лазаревой достигает трех с половиной метров. Что, стало быть, надо узнать? Рост Лазаревой и высоту мебели, с помощью которой она могла дотянуться до потолка.

Узнать рост – дело одной минуты: в протоколе такие данные есть. Но как измерить стол и стулья – ведь они исчезли?

Их надо найти – без этого любой вывод следователя будет легко уязвим.

Почти непостижимо: находят стол! Находят стулья. Находят всю мебель. Всю – до единого предмета! Соседи и зна-

комые подтверждают: да, это та самая мебель, которая стояла в комнате Лазаревой в день ее смерти. Измеряют высоту каждого предмета с точностью до сантиметра.

Но даже этого мало!

Когда человек старается дотянуться до высоко расположенного предмета, он поднимает над головой руки и тем самым как бы увеличивает свой рост. При одинаковом росте длиннорукий достанет более отдаленный предмет, чем тот, у кого руки короче. Поэтому для точности выводов не хватает еще одной цифры. Нужно знать длину рук Лазаревой. А в протоколе о длине рук нет ничего.

Правда, есть ее пальто и кофточки – эту часть немудреного наследства взяла себе племянница. Но все они давнего производства – поношенные, многократно стиранные, утратившие свою первозданность. И длина рукавов у них разная. Плюсминус три сантиметра. А то и четыре. Чепуха? Как сказать: нужна точность, точность и снова точность.

Отступить лишь потому, что не хватает совсем пустяковой детали? Зачем отступать: племянница дала уже путеводную нить. Ведь Лазарева шила пальто в ателье, а там, как известно, снимают мерку.

Нужна ли вообще эта мерка, снятая для пальто, если есть в натуре оно само? Измерить длину рукава – и готово!

Как бы не так… Длина рукава и длина руки – далеко не одно и то же. Тем более рукава от пальто: одни любят, чтобы он доходил до середины ладони, другие предпочитают коро-

че. Кто скажет теперь, что именно любила Мария Васильевна? Ее племянница? Сослуживцы? Где гарантия, что их наблюдения будут точны?

Но – с другой стороны… Если женщина молодилась, шила себе туалеты, если ей был по душе и по вкусу портной, пошивший пальто, – может быть, она заказала ему и что-то еще? Ему или его коллегам, работавшим там же. Платье, допустим. Блузку, кофточку или куртку. Вряд ли, конечно… Ну а все же… Ведь длина рукава платья, кофточки или блузки, измеренная профессионалом с точностью до полусантиметра, даст возможность безошибочно узнать о самой руке: манжет обычно кончается на запястье. О длине ладони и пальцев скажут перчатки: они сохранились. Останется приплюсовать.

Находка? Нет, неудача. В Москве десятки ателье (готовая – модная и удобная – одежда была тогда величайшей редкостью, шили ее обычно на заказ), и в каждом – тысячи клиентов, и архивы с ворохом устаревших квитанций интереса для вечности не представляют: их вскорости уничтожают.

Представьте себе, этот фанатик Маевский находит то ателье, где Лазарева шила пальто. Часами роется в папках – компьютеров тогда не было даже в воображении писателей-фантастов! И находит заказ на платье, которое она получила минувшей зимой.

Платье исчезло, а квитанция есть! И значит – есть искомая цифра! Можно встать на стол и увидеть, как высоко мог-

ла дотянуться эта загадочная самоубийца. Ведь твердо установлено, что под люстрой, когда обнаружили труп, стоял на обычном месте круглый обеденный стол. Значит, Лазарева, чтобы закрепить узел на крюке от люстры, взбиралась на этот стол: добраться до потолка иначе было нельзя.

Находят женщину, рост и длина рук которой в точности соответствуют лазаревским, просят ее взобраться на стол, подняться на цыпочки и вытянуть руки вверх.

Не получается. Не достает эта женщина – двойник Лазаревой – до крюка. Тогда на стол ставят стул, и женщина не без труда карабкается на это громоздкое сооружение.

Все равно не получается. Только подпрыгнув, она может кончиками пальцев дотронуться до крюка, но завязать на нем узел совершенно не в состоянии.

Хорошо: этой женщине не удается. А вдруг Лазарева была более расторопной? Вдруг она умела лучше прыгать? Вдруг ее ловкость и сноровка позволяли ей вязать узлы на лету? Надо проверить.

Проверяют. Не получается.

Вес Лазаревой превышал сто килограммов. Она не любила и не умела прыгать. Даже после самой непродолжительной ходьбы ее мучила одышка. Соседи рассказывают, что, вешая постиранное белье, она не могла встать даже на низенькую скамейку: закидывала его на веревку, потом расправляла палкой – это тоже давалось ей с огромным трудом.

Убедительно? Кажется, да.

Впрочем, мало ли какие были у нее привычки! Ведь то были привычки женщины, старавшейся себя не утомить, не повредить своему здоровью – женщины, думающей о жизни. А если она решила с жизнью порвать, придет ли ей в голову мысль об усталости, об одышке?

Допустим невероятное. Допустим, что Лазарева, прыгая на стуле, сумела завязать узел на крюке или, завязав его заранее, просто забросила на крюк, затем сунула голову в петлю и с петлей на шее бросилась вниз. Тогда стул должен остаться на столе. Или хотя бы упасть.

Всех соседей поочередно снова вызывают в прокуратуру. Каждый в отдельности подтверждает, что в тот трагический вечер все стулья стояли вокруг стола на своих обычных местах. Что рядом со столом упавшего стула не было. Что скатерть, покрывавшая стол, не была сдвинута. И что, наконец, в центре стола, как обычно, стояли стеклянная пепельница и ваза с живыми цветами.

Значит, на стул Лазарева не становилась. Значит, на стол она не становилась тоже. Значит, остается признать, что забраться под потолок Лазарева не могла.

Но одной этой улики мало. Сама по себе она еще ни о чем не говорит. Кроме того, бывают случайности. Бывают непредвиденные возможности – настолько простые, настолько элементарные, что даже обсуждать их кажется абсурдом.

Вообще всякое бывает.

Еще ничего не решено.

Поиски продолжаются…

За какую ниточку тянуть дальше? От чего отталкиваться? Прежде всего надо восстановить, вплоть до мельчайших деталей, тот вид, какой имела комната, когда Стулов позвал соседей на помощь.

Опять вызывают соседей. Они многое позабыли. Один припоминает какую-либо деталь, другой ее опровергает. Кому верить? Никому. Сомнительную улику нельзя брать на вооружение – это незаконно.

Есть, однако, улики, которые подтверждают все. И как раз они-то самые важные.

Все подтверждают, что Лазарева с петлей на шее полусидела на полу, занимая все пространство между шкафом и столом. Но – любопытная подробность: комната была освещена лишь настольной лампой, стоявшей на тумбочке в самом дальнем углу. Пройти к настольной лампе, чтобы ее включить, и не задеть при этом труп Лазаревой было попросту невозможно.

Кто же зажег эту лампу? И почему не горела большая люстра, выключатель которой у самой двери? Зажечь ее проще всего. Каждый, входя в неосвещенную комнату, сначала тянется к выключателю, а не пробирается в темноте через всю комнату к настольной лампе. Впрочем, возможно, ее успела зажечь сама Лазарева? Но, судя по выводу экспертизы о времени смерти, она наступила засветло: в середине

мая темнеет поздно.

Задать эти вопросы надо бы Стулову, но Маевский не хочет спешить. Для каких-либо выводов доказательств пока маловато. Есть сомнения – их все больше и больше. Но сомнения еще не улики.

Стулов далеко: работает завхозом в какой-то научной экспедиции. Пусть работает, время вступить с ним в прямой поединок еще не настало. Объяснения, которые дал он в милиции по горячим следам, говорят вместо него. Мало что говорят, и однако…

«На ваше предложение дать информацию о том, как я провел день… могу сообщить нижеследующее.

Весь день я, Стулов Василий Максимович, провел дома. Занимался починкой платяного шкафа, который ни разу не был в ремонте и пришел в ветхое состояние. Я так увлекся этой работой, что не заметил, как прошел день. Почти ничего не ел, только остатки вчерашнего супа с макаронами.

Лазарева вернулась с работы, принесла продукты для приготовления пищи и пирожки, она знала, что я люблю пирожки. Я не стал дожидаться, когда она сготовит ужин, съел пирожки, перебросился с ней несколькими словами, сейчас не помню, какими, и пошел в ванную мыться, так как вспотел и запачкался после работы со шкафом в течение целого дня.

По просьбе Лазаревой, уходя, я запер дверь комнаты на ключ, так как она не хотела, чтобы кто-то заходил и ее беспо-

коил. Она была очень усталой. Она попросила: «Запри меня, я никого не хочу видеть».

Помывшись, я постирал в ванной майку и, не заходя в комнату, вышел из дому, чтобы немного развлечься, так как я устал, целый день работая со шкафом, и имел намерение расслабиться и отдохнуть.

Сначала я зашел к знакомому по имени Автандил, проживает по адресу Бульварная улица, дом 9, квартира 27, мы немного посидели, выпили по стакану вина, после чего я пошел в Дом культуры смотреть фильм «Нахлебник».

Из Дома культуры я вернулся домой, так как устал и хотел спать, хотя Автандил звал зайти снова после кино. Я открыл ключом дверь комнаты и удивился, что темно, поскольку Лазарева обычно дожидалась моего прихода, не засыпала, да и было еще не очень поздно. И уходить куда-либо она не собиралась.

Я повернул выключатель, он находится слева от двери, и, к моему удивлению, увидел Лазареву. Она сидела на полу с петлей на шее…»

Но в комнате, когда сбежались поднятые криком Стулова соседи, горела не люстра, а настольная лампа – такую деталь забыть невозможно.

Значит, Стулов, не зажигая люстры, почему-то прошел в темноте к настольной лампе, споткнувшись о труп. Или каким-то образом его «обогнул», зная, какое препятствие встретится на его пути? Или сначала зажег люстру, а затем

ее выключил?

Неужели не странно?

И зачем, уходя в ванную, запирать Лазареву на ключ?

Зачем тут же стирать майку, которая, кстати сказать, непонятным образом куда-то запропастилась?

Зачем сразу уходить из дома, даже не зайдя в комнату?

Есть много «почему» и «зачем», но все они тоже не улики. Сомнения, не больше. А этого мало. Нельзя даже предъявить обвинение. Прокурор не даст санкцию на арест. В деле есть тому подтверждение. На подготовленном Маевским проекте постановления о взятии Стулова под стражу – резолюция прокурора: «В санкции отказать».

Вызывают сослуживцев Лазаревой. Это продавцы и сотрудники одного из самых популярных в Москве цветочных магазинов. Милые, симпатичные люди. Они очень любили Лазареву. Они поражены ее гибелью. Они искренне хотят помочь следствию найти убийцу. Да, убийцу: они уверены, что Лазарева убита.

У них есть факты? К сожалению, нет. Но зато нет и сомнений. Они убеждены: следствие факты добудет и подтвердит то, что для них очевидно.

Пора Маевскому теперь пройти по следам Лазаревой в последний день ее жизни. Восстановить за минутой минуту, проверяя на прочность ту версию, что уже с несомненностью сложилась в его голове.

В девять утра Лазарева пришла на работу. В отличнейшем настроении. Много шутила, напевала песенку из последнего кинофильма, которая была тогда у всех на устах. В обеденный перерыв гуляла по бульвару, строила планы на лето. Была в синем шелковом платье, красивых бежевых туфлях. И в пальто? Да, в пальто: день был ветреный, сумрачный, собирался дождь. Конечно, в совершенно чистом пальто: Лазарева была на редкость чистоплотна, всегда следила за собой. В шесть вечера ушла с работы, пообещав одному сослуживцу принести на следующий день книгу.

А через два, от силы три, часа Лазаревой не стало…

Опять вызывают соседей. Им до смерти эти вызовы надоели, но они не ропщут: видят, с каким старанием работает следствие, и тоже очень хотят ему помочь. Соседи припоминают: Стулов весь день был дома, мастерил что-то в комнате, стучал молотком – в этой части их показания не расходятся с тем, что показывал сам Стулов.

Но – вот подробность, о которой он умолчал: еще днем зажег газовую колонку и согрел воду в ванной, а мыться, однако, не стал. Ничего, для него опасного, эта подробность, казалось, не содержала. Почему же он ее скрыл? Про суп с макаронами, не имевший к делу ни с какой стороны ни малейшего отношения, сообщил, а про воду, приготовленную заранее, предпочел позабыть.

Лазарева пришла домой около восьми вечера – это заметила одна из соседок, встретившая ее у подъезда: соседка

спешила в кино, на сеанс, начинавшийся в половине девятого. Стулов был в это время дома. Потом он ушел – это заметили другие соседи. Помнят и время: что-то около девяти.

После спешившей в кино соседки Лазареву уже никто не видел живой. Кроме Стулова, конечно. А в одиннадцать вечера все видели ее труп.

Значит, Лазарева погибла между восемью и одиннадцатью. Когда она пришла домой, в комнате был только Стулов. Затем он ушел, замкнув комнату на ключ. От комнаты имелось лишь два ключа: второй нашли в дамской сумочке, лежавшей на подоконнике.

Значит, никто посторонний в комнату не входил.

Значит, или Лазарева действительно повесилась, или ее убил Стулов.

Стулов – и никто другой.

Пусть так: Лазарева повесилась. Для этого она взобралась на стол, оттуда – на стул, завязала петлю, бросилась вниз. Но ближайшие соседи не слышали за стеной никакого шума. Впрочем, и это бывает, если, например, в квартире толстые стены и хорошая звукоизоляция.

Проверяют: звук от падения тяжелого предмета, громко сказанное слово – все это в другой комнате хорошо слышно. Даже скрип половицы…

Устанавливают: в день гибели Лазаревой в Доме культуры действительно собирались показывать фильм «Нахлебник»,

о чем было загодя повешено объявление. Однако сеанс не состоялся: зал срочно потребовался для собрания комсомольского актива.

Получают заключение биологической экспертизы. Она подтверждает: бурые пятна на пальто – это пятна крови, и кровь эта относится ко второй группе.

Разыскивают в архиве районной поликлиники давнишнюю историю болезни Лазаревой: ее кровь относится все к той же второй группе.

Находят еще одного свидетеля – мальчика из соседнего дома, который всегда смотрел у Лазаревой телевизионные передачи. Этот мальчик получил разрешение прийти в тот вечер «на телевизор» при условии, если утром успешно сдаст первый экзамен. Отлично ответив на экзамене, мальчик безуспешно весь вечер звонил тете Марусе по ее личному, а не общему телефону – на звонки никто не ответил. Однако соседи, живущие за стеной и безотлучно находившиеся в тот вечер дома, телефонных звонков не слышали.

Вызывают жильцов, занимающих теперь комнату Лазаревой. Они хорошо помнят, что в день переезда обратили внимание на оборванный шнур телефонного аппарата.

Вызывают монтера телефонного узла, который этот факт подтверждает.

Вызывают сотрудников отдела обслуживания телефонного узла, они сообщают, что им дважды звонил какой-то, упорно не желавший назваться, мужчина и, сообщая о смер-

ти Лазаревой, просил в ее комнате снять аппарат.

Что тут скажешь? Улика сильнейшая! Соседи знали, что Лазарева возвратилась домой. Услышав звонки, на которые никто не отвечает, они могли бы слишком рано заподозрить неладное. Поэтому Стулов решил шнур оборвать. Впоследствии он, естественно, эту улику хотел уничтожить. Но аппарат снят не был: он прогадал.

Наступил момент, когда следствию нужен сам Стулов. Чтобы вести с ним бой, уже собрано достаточно доказательств. Остальные он, вольно или невольно, даст сам.

Стулова вызывают в Москву. Самодовольный, уверенный в себе человек усаживается в кресло. Он совершенно спокоен: в распоряжении следствия нет и не может быть прямых улик, главные косвенные он уничтожил, время на его стороне. Он внимательно слушает и неохотно отвечает. Недаром Лазарева называла его немногословным. И сейчас он тоже остается верен себе. Боится сболтнуть что-нибудь лишнее…

Прокурор дает, наконец, санкцию на его арест. Молодого юриста можно поздравить с победой. Но сам победитель еще не считает себя победителем. Конечно, бой с преступником – по крайней мере на первом этапе – он выиграл. Но он выиграл его по очкам. А ему хочется нокаута. Чистой победы. Ему хочется не оставить защите ни одной щелочки, ни одной лазейки. Ему хочется найти такую улику, которая одна стоила бы всех остальных.

И он находит ее. Он наносит последний удар, венчающий успех.

Давно замечено, что у моряков, пожарных, ткачей, рыбаков есть свои особые способы вязания узлов и петель. Даже связывая порвавшийся шнурок на ботинке или упаковывая сверток, моряк, пожарный или ткач сделают это каждый по-своему: независимо от их воли узел будет всегда профессиональным. Руки механически подчиняются автоматике, уже закрепленному навыку, стойкому стереотипу. Его может вытеснить лишь другой стереотип – после долгой и мучительной специальной тренировки.

Из биографии Стулова известно, что в молодости он долгое время служил матросом, плавал на торговых судах, работал в порту такелажником.

В прокуратуре, в кабинете следователя Маевского, в большом бумажном пакете, запечатанном пятью сургучными печатями, ждет своего часа петля из электрического шнура. Та самая петля, которую сняли с шеи Лазаревой. Единственное вещественное доказательство, которое пока еще не полностью пущено в дело. Пора!

Маевский, конечно, давно уже убежден, что Стулов – убийца. Если окажется, что узел на петле из электрического шнура является профессиональным, матросским, нужно ли доказательство вернее?

А если нет? Если окажется, что это самый обычный узел, без сложностей и украшений? Узел, похожий на миллионы

других. Никак не выражающий самобытности автора. Что тогда? Ведь это не только лишит обвинение еще одной улики, но серьезно подорвет ценность всех остальных. И не только не укрепит избранную следствием версию, а породит новые сомнения.

Делать нечего – придется рискнуть. Это не только вопрос совести и профессиональной этики, но и прямого расчета: любой промашкой воспользуется защита, зачем подыгрывать ей?

Приглашают старейших, заслуженных моряков, износивших не одну тельняшку за годы своей службы на флоте, – теперь они не просто моряки, а эксперты. В присутствии понятых вскрывается запечатанный пакет, и, вооружившись лупами, эксперты приступают к изучению узла.

Их ответ категоричен: это профессиональный матросский узел, называется он «простой штык», широко распространен среди матросов Черноморья. Но есть одна закавыка: от классической формы «простого штыка» подопытный узел имеет небольшое отличие, весьма пустяшное искажение, которое, по мнению экспертов, не следует принимать в расчет.

Не следует? Как кому: для крепости узла при разгрузке пароходного трюма это, может быть, все равно. Но следствию «небольшие» и «пустяшные» искажения далеко не безразличны: каждая деталь полна значения, каждая мелочь говорит о многом. Уличает. Или, напротив, спасает.

Неугомонный Маевский идет к Стулову в тюрьму. Он по-

нимает, что перед ним не дурак! Что тот яростно сражается за свою жизнь. Скрывать от него свой замысел совершенно бессмысленно. Он и не скрывает: или – или.

Или Стулов действительно убийца, и тогда годами укоренившаяся привычка выдаст его.

Или все улики – не больше, чем нагромождение случайностей, трагическая цепь следственных ошибок, чрезмерного увлечения одной-единственной версией, и тогда Стулов поможет эту цепь разорвать. Теперь его судьба в его же руках. Не метафорически, а буквально.

– Свяжите-ка, Стулов, несколько узлов, – говорит ему Маевский, протягивая захваченную с собой прочную капроновую тесьму.

– Ловите? – деловито осведомляется Стулов.

– Ловлю, – честно признается Маевский. – Постарайтесь связать как-нибудь по-другому, ведь вам ничего не стоит?

И отходит к окну.

За его спиной молча трудится Стулов. Он старается. Очень старается. Обострившийся слух следователя улавливает позади тяжелое прерывистое дыхание, угадывает паузы для размышлений, чувствует, как дрожат и покрываются потом его большие огрубелые руки. По тому, как долго работает над тесьмой бывший моряк, можно понять, каких усилий стоит ему побороть самого себя. Маевский никуда не торопится. Не подгоняет. Терпеливо ждет, уже понимая, что развязка близка.

– Готово! – говорит наконец Стулов. – Целых три узла. Сличайте, пожалуйста.

Сличают.

Придирчиво и внимательно сличают три экспериментальных узла с узлом на петле из электрического шнура. Абсолютное тождество! Тот же «простой штык»! И всюду – с одним и тем же искажением!

От себя самого никуда не спрячешься, даже если очень стараться.

Сомнений и вопросов у следствия больше нет. Свое слово оно сказало и дополнить его ничем не могло.

Теперь очередь – за судом.

Все, о чем написано выше, я прочитал в материлах дела. Мне осталось лишь выстроить хронологический ряд, реконструировать ход мыслей Маевского и перевести казенную протокольную запись в живую речь. Додумывать ничего не пришлось.

По совести говоря, оспорить то, что Маевский собрал, было вряд ли возможно. Даже такому магу, как Брауде. Он не скрывал своего восхищения работой следователя, забыв (истинный профессионал!), что тот победил адвоката еще до того, как ему придется вступить в поединок.

«Только слепец не замечает искусство противника», – оборвал он меня, когда я хотел слегка остудить его непомерный восторг. Впрочем, я и сам был увлечен нисколько

не меньше. Но эта увлеченность, притом справедливая, не оставляла нам возможности рассчитывать на успех: по большему счету, адвокату в предстоящем процессе было попросту нечего делать.

Мы явились к Стулову рано утром. В тюрьму, где он провел уже месяца три, вряд ли всерьез предаваясь иллюзиям: ведь со всем следственным производством его уже ознакомили, и он лично мог убедиться, сколь солидно оснащена позиция обвинения.

Он вошел в комнату, где мы его ждали, заспанный и сердитый.

– Я не виновен, – сказал он еще с порога. – Не виновен, так и знайте.

Потом мы сели за стол, разложили все наши выписки из дела и снова прошлись по уликам – большим и малым, серьезным и не совсем.

И когда Брауде, изрядно устав от этой мучительной читки, тоскливо выдохнул: «Безнадега», – Стулов спросил:

– А зачем мне было ее убивать?

Он задал вопрос, который и у нас вертелся на языке. Точный ответ на него – сам по себе доказательство. Просто так никто не убивает. Во всяком случае тот, кто в здравом уме и твердой памяти. «Cui prodest?» (Кому выгодно?) – первое, чем озадачивали себя древнеримские юристы, приступая к раскрытию преступления. Кому это выгодно, тот, наверное, и преступник. Кто достиг или хотел таким путем чего-то до-

стичь, тот, скорее всего, и виновен.

Правило старое, но не устаревшее. Даже советский закон – он тоже! – требовал уяснить мотив преступления: нет мотива – нет и важного звена в цепи улик. Строго говоря, нет и самого преступления: юридическая квалификация убийства зависит от его мотива. Из корысти – одно. Из мести – другое. Из ревности – третье. В драке, в обороне от напавших преступников – и далее, как говорится, везде… С непременным уточнением: убил – ПОЧЕМУ? Никакого убийства «вообще», «просто так», «невесть зачем и ради чего» законом не было предусмотрено. Не предусмотрено и сейчас. Потому, вероятно, что такового попросту не бывает.

Итак, cui prodest? Кому же было выгодно – желательно? необходимо? – убить Лазареву?

Ответ неясен. Зато совершенно ясно, что если уж кому было невыгодно ее убивать, так это Стулову. Ему – прежде всего.

Он тотчас лишался жилья, притом дармового. Как временного жильца, не имевшего никакого права на площадь, его немедленно из квартиры изгнали и комнату Лазаревой опечатали.

Он тотчас лишался средств к существованию: лентяй, которого Лазарева полностью содержала, он вынужден был поступить на весьма скромно оплачиваемую работу, да притом еще далеко от Москвы.

Не существовало никакой другой женщины, ради кото-

рой он мог бы пойти на убийство. Впрочем, если бы и была, убийство не имело ни малейшего смысла: Лазареву и Стулова формально не связывало ничто.

Не было и корысти. Все вещи, кроме ковровой дорожки, оказались на месте. Все деньги Лазарева хранила в сберкассе, завещав к тому же свой вклад киевской племяннице. Да и отношения с Лазаревой сложились так, что получить деньги у живой ему было гораздо легче, чем у мертвой. И не надо было бы за это платить столь дорогую цену.

Зачем же Стулов убил Лазареву? Зачем он оглушил ее, закинул на шею петлю и подтянул к потолку ее безжизненное тело? Зачем была ему нужна эта заранее обреченная на провал затея, эта дьявольская игра, в которой проигрыш обеспечен, а выигрыш невозможен? Чего он достиг, этот хитрый, жестокий человек, подрубивший сук, на котором сидел? Погубивший не только Лазареву, но и себя самого?

Всю ночь мы сидим с Брауде в его заваленной книгами и папками квартире и спорим, спорим, спорим… Он вышагивает по комнате из угла в угол, размахивая левой рукой, и одну за другой выдвигает разные версии, а я их опровергаю. Не забрался ли убийца через окно – ведь квартира на цокольном этаже? Не замешаны ли соседи? Не напутал ли Маевский в своих расчетах? Потом мы меняемся местами, и все мои доводы он разбивает коротким и энергичным словом «чепуха». Иногда добавляя: «на постном масле».

Вдруг его прорывает:

– Надо же так проколоться! Сделать столько бездарных накладок!.. Про кино – не проверил. Скатерть с места не сдвинул. Стулья не опрокинул. Лампу зажег не ту. Оглушил, не дав сбросить пальто: разве тучная самоубийца полезет при полном параде на стол? Ей и без пальто туда не забраться… Приняв ванну, в комнату не вернулся – струсил, наверно. Видно, очень уж ему не терпелось. Просчитать все в деталях времени не было – иначе обдумал бы лучше и не оставил бы столько следов. Но – почему, почему?!. Давай пройдемся еще раз.

Отчего не пройтись, что же, пройдемся, хотя уже ясно, что толку от новой «прогулки» не будет. Она заняла еще не один час. Все – впустую! И когда даже самые несуразные версии продуманы, изучены и отвергнуты, остается только одно: действительно, Стулов преступник. Только он, и никто другой.

Я спешу сказать это вслух и жду, что Брауде меня оборвет, бросит свое обычное: «Из тебя защитник, как из меня балерина». Но вопреки моим ожиданиям он задумчиво говорит:

– Похоже, что так.

Он не верит в «нет» своего подзащитного. Но он должен его защищать.

И он защищает. Он рассказывает суду о нашем ночном споре – рассказывает правдиво, искренне, задушевно. Словно он не в суде, а в кругу друзей, внимающих ему за бутылкой вина. Он делится своими сомнениями. Он недоуме-

вает. Он говорит, что бессмысленные преступления бывают только в плохих детективных романах. Он утверждает, что никто не станет хладнокровно и обдуманно убивать человека себе во вред. Он просит суд при вынесении приговора учесть этот важный довод. Он требует продолжения следствия: пусть блистательный товарищ Маевский, мастерством которого он искренне восхищен, восполнит зияющий пробел в так талантливо им проведенном поиске.

Вечером мы возвращаемся. Снова – к нему, хотя лучше бы разойтись и соснуть: завтра опять на процесс – предстоит последнее слово Стулова. И приговор. Моросит занудный и мерзкий дождичек. Сырость забирается за воротник. Но, похоже, только я замечаю это. Брауде хлюпает по лужам, не разбирая дороги, расстегнув пальто нараспашку и не раскрывая зонта. Он возбужден, его мысли все еще там – в зале суда.

– Чего молчишь? – оглушает он вдруг нежданным вопросом.

Я действительно молчу, но вовсе не потому, что боюсь вспугнуть мысли дорогого патрона. Меня мучает чувство незавершенности. Вопросительный знак – там, где должна стоять точка.

Да, неясностей много, но адвокат не судья. Все, что неясно, – на пользу его подзащитному. Вопросы, на которые все еще нет ответа, – недопустимая брешь обвинения. И значит, хлеб для защиты. Так чего же миндальничать? Надо требовать, а не просить! Так прямо бы и сказать: любой обвини-

тельный приговор будет не просто ошибочен – незаконен. Разве не так?!

– Молодец! – спокойно реагирует Брауде на мой патетический монолог. – Теперь я вижу, что пятерку ты схлопотал не по блату. Давай, продолжай…

Я, конечно, не продолжаю: разве мне по зубам сразить его убийственный юмор?

– Судьи поняли, что вы Стулова не защищали. Просто исполняли формальный долг. Вас выдала интонация.

Никакого юмора больше нет. Улыбка исчезла. Он не зол, но серьезен.

– Пятерку тебе поставили зря: ты путаешь юриста с актером. Я обязан защищать – и я защищаю. Как могу. На всю железку. А играть роль враля, который делает вид, будто верит в то, во что не верит… Приходилось делать и это. Не по своей воле. По своей – не хочу.

Десять лет лишения свободы – таков приговор по делу Стулова, одному из последних дел, над которыми мы работали вместе с Ильей Давидовичем.

Я часто вспоминаю две тяжеленные папки, хранящие следы виртуозного искусства молодого следователя, который, кстати сказать, долго в прокуратуре не удержался, потому что был слишком талантлив, – вспоминаю нашу беседу в тюрьме, и ночной спор, и всю обстановку этого процесса, и прогулку под дождем – после него. Столь странных и увле-

кательных дел в моей практике было не так уж много. И если бы кто-то спросил, не кажется ли мне, что суд допустил здесь ошибку, я ответил бы не колеблясь: нет, не кажется. Но зачем Стулов убил Лазареву, понять так и не смог.

И вот спустя несколько лет довелось снова услышать знакомую фамилию. В коридоре московского городского суда спросила меня какая-то женщина:

– Не знаете, где здесь судят Стулова?

Стулова?! Неужели нашелся еще один преступник с такой редкой фамилией, по странной прихоти судьбы попавший чуть ли не в тот же зал, где судили того?

Только это был не однофамилец. Это был он сам, мой старый знакомый – загадочный Василий Максимович Стулов.

Он сильно сдал: ни наглой уверенности, ни сытого довольства не было в его отяжелевшем и смятом лице. Только беспокойно бегали налитые кровью глаза и так же, как встарь, нервически дергался его мясистый нос.

Стулов встретился со мной взглядом и, видимо, узнав, сразу же отвернулся.

Я простоял несколько минут в переполненном зале, хотя смысл происшедшего был мне ясен с первых же слов, которые я услышал.

Нет, он не совершил нового преступления. Его судили за старое, за очень давнее – настолько давнее, что, казалось бы, пора о нем давно позабыть.

Но о нем не забыли. Пятнадцать лет искали фашистского полицая, на совести которого была не одна жизнь. Этот поиск – тоже достойный сюжет для рассказа, но к тому делу я никакого касательства не имел, всех деталей не знаю. Да и дел таких в сороковые-пятидесятые годы было немало. От других, на нее похожих, история Стулова существенно отличалась одним. Обычно такие преступники находили способ сменить фамилию и под ней затеряться. Тут же все было наоборот: настоящая фамилия дважды преступника была действительно Стулов, а палачествовал он совсем под другой, уже тогда допуская, как видно, что придется скрываться и – рано ли, поздно ли – держать ответ.

Конечно, он знал, что за ним идут по пятам. Полагал, что в Москве его вряд ли станут искать: беглецы от правосудия предпочитают устроиться в глухомани и на этом горят – как раз в глухомани-то их и находят. Вряд ли не понимал, что может сорваться. Но долго – и к тому же искусно, как видим – ему удавалось запутать следы.

И все-таки он сорвался. Неосторожно вырвавшееся слово заставило Лазареву вздрогнуть. Она ничего толком не поняла, но ей стало ясно, что Стулов скрывает страшную тайну.

Он безошибочно прочел ее мысли. И решил, что Лазаревой не жить…

Хорошо помню: и Маевский, и Брауде предполагали и это. Как сейчас вижу: заваленная бумагами комната, ночничок, тускло горящий в углу. Брауде стоит у окна, вытирает слезя-

щиеся от усталости глаза и ворчит с обычной своей хрипотцой:

– Может, он ее со страха убрал? Может, она прознала о нем что-нибудь? Как ты думаешь?

Мне совершенно не хочется думать, я устал и чертовски хочу спать.

– Не может быть, – вяло говорю я, чтобы сказать хоть что-нибудь.

– Не может быть… – передразнивает Брауде. – Тоже мне Спиноза.

То, о чем смутно догадывались и следователь, и адвокат, подтвердилось. Тогда это были предположения, их нечем было обосновать. Теперь же другие люди, с неменьшим упорством распутавшие клубок другого преступления, доказали правоту талантливых своих коллег, отыскав последнее звено в железной цепи улик.

Загадки больше не было.

Страсти по Саломее

Забыл имя героини, но хорошо помню ее необычную фамилию: Таланкина-Крылова. Сухощавая, угловатая, с выпиравшими из-под туго натянутого платья ключицами дама лет пятидесяти, издали похожая на переростка, которому тесно в детских одеждах. Длинная коса через плечо и нечто похожее на гимназический передник еще больше подчеркивали ее «детскость». При близком рассмотрении, однако, все опрокидывалось навзничь: миловидное лицо представало зловещей маской из-за плохо подтянутых складок и кустарно заштукаренных морщин, а стройный торс – обтянутым кожей скелетом. Симпатичный подросток моментально превращался в Бабу-Ягу.

У нее не было никакой определенной профессии, разве что такая: перманентно чья-то жена. Число ее браков – юридических и фактических (браков – не связей) – подбиралось чуть ли не к двум десяткам. Попутно она баловалась участием сначала в кордебалете каких-то третьестепенных трупп, потом в различных театральных и киномассовках, что давало ей основание именоваться актрисой.

И действительно – вызванная на процесс свидетелем, по ее просьбе, популярнейшая в те годы эстрадная певица Клавдия Ивановна Шульженко называла знакомую ей Таланкину «артисткой, которой не повезло», и отмечала ее «отзывчи-

вость, скромность, даже девичью застенчивость». Пожалуй, в каком-то смысле та и была артисткой, хоть и не очень застенчивой, – это видно из того, как сыграла она свою коронную роль, приведшую ее на скамью подсудимых.

«Жарким летним днем», как написали бы в каком-нибудь сентиментальном романе, ехала наша Таланкина на электричке, направляясь вроде бы на подмосковное кладбище, где была похоронена ее единственная, очень рано умершая дочь Злата. И в том же, битком набитом вагоне ехал морской офицер, красавец двадцати четырех лет, имея совсем иную – не печальную, а счастливую цель: на даче, в лесу возле озера, его ждал известный в стране адмирал, под чьим началом он несколько лет служил. Юная дочь адмирала была его невестой, а недели через две должна была стать и женой.

Никто не знает в точности, что именно произошло в те полчаса, которые капитан-лейтенант Виктор и актриса (пусть так!) Таланкина провели, очень тесно общаясь друг с другом, на «борту» электрички. Итогом явилось то, что вместо обеда у адмирала он оказался на детской могиле, где оставил записку, воткнув ее в холмик (коряво нацарапанная и полуистлевшая, она тоже попала потом в судебное дело): «Дорогая Златочка! Клянусь тебе всегда любить твою замечательную мать и быть ей верным до гроба. Виктор.»

Тем же вечером он приступил к исполнению этой клятвы, о чем в дневнике, который исправно вела Таланкина, была сделана подробная запись. Впоследствии дневник тоже при-

общили к судебному делу в качестве вещественного доказательства. На правах помощника адвоката, защищавшего Таланкину, я имел возможность с ним ознакомиться. Это было первое, прочитанное мною, откровенно эротическое сочинение с довольно искусно выписанными натуралистическими подробностями – они свидетельствовали как минимум об одном: в порыве безумной страсти авторесса ни на минуту не теряла контроля над собой и дотошно фиксировала в памяти всю феерию их любви. У дневника был эпиграф – из Игоря Северянина: «Для изысканной женщины ночь – всегда новобрачная…» Тоже, между прочим, любопытный штришок: стихи Северянина – эмигранта и «декадента», кумира, как считалось, растленной буржуазии – давно уже не только не издавались, но и были изъяты почти из всех библиотек. Зато они пребывали в личной коллекции артистки Таланкиной и усердно ею читались. Впоследствии я увидел один из растрепанных томиков приобщенным к судебному делу – он был весь ею исчеркан и снабжен пометками, выражавшими бурный восторг в определенных местах определенного содержания. К поэзии как таковой этот восторг отношения не имел. Двумя жирными чертами и четырьмя восклицательными знаками на полях была, к примеру, отмечена строчка из известного стихотворения «Это было у моря…». Строчка такая: «А потом отдавалась, отдавалась грозово». Поэт, как видно, распалял ее воображение и придавал вполне заурядным порывам плоти какой-то особый, возвышенный смысл.

В деле (а может быть, в моей памяти?) не осталось никаких следов, которые помогли бы понять, как адмирал реагировал на внезапное исчезновение своего без пяти минут зятя. Где вообще служил капитан-лейтенант и хватился ли кто-нибудь, обнаружив его пропажу? Известно лишь, что ни родителей, ни просто близких людей в Москве у него не было, адмирал относился к нему как к сыну и готов был принять его в свою семью. Исчезновение зятя, который не состоялся, скорее всего воспринял как предательство, как подлость и вычеркнул его навсегда из своей головы. Впрочем, это не больше, чем домысел. Факт остается фактом: судя по всему, розыск офицера не велся.

Таланкина укрыла Виктора в какой-то развалюхе в Марьиной Роще – в отъединенной от соседей однокомнатной квартирке, практически без удобств, с наглухо задраенными окнами. Там они предавались любви, о чем она педантично делала ежедневные записи в своем дневнике. Уходя за продуктами, замыкала его на ключ.

Как коротал он долгие часы одиночества – при свете всегда горящего ночника? О чем думал, долгими неделями не видя солнца, которым в то лето наслаждалась Москва? Про это в дневнике Таланкиной нет ни единого слова. Зато есть много о том, какими, неведомыми ему дотоле, утехами забавляла она его, предварительно накормив калорийной едой. Много позже я понял: все ее экзотические приемы были заимствованы из «Кама-Сутры», тогда еще никому у нас не

доступной. Никому, стало быть, кроме Таланкиной…

Через какое-то время его терпению пришел конец. Виктор потребовал воли – хотя бы для того, чтобы «немного подышать». Блистательный офицер таял на глазах. Уже не только ночами, но и днем его душил кашель. Ей показалось, что начинается туберкулез: она встревожилась не за него – за себя. Милостиво разрешила показаться врачам.

Это было, кстати, тогда совсем не так просто: у офицера не было московской прописки, даже в платных поликлиниках без документов не принимали. Но такого рода препятствия для Таланкиной не существовало. Как она преодолела их, я не знаю, да и для рассказа нашего эти подробности значения не имеют. Преодолела…

Следила исподтишка за его передвижением по городу и однажды обнаружила, что он заходит не только в поликлинику – еще в какой-то многоэтажный дом. Как и во всяком доме, там скорее всего проживали и молодые дамы. Ее фантазии хватило, чтобы додумать, кого бы он мог навещать и чем это может закончиться. К тому же его бурная страсть резко пошла на убыль: оба эти события она связала одно с другим. И приняла решение.

Впоследствии дотошный следователь, найдя при обыске читательский билет Таланкиной в главную государственную библиотеку, которую никто не называл иначе как «Ленинкой», и поразившись ее потребностью в знаниях (для чтения беллетристики никто в «Ленинку» не ходил), поработает там

несколько дней – в отделе, где хранились листки с заказами на книги, и найдет то, что искал. О чем смутно догадывался – так будет точнее.

Круг интересов артистки в этот период оказался весьма специфичным: она углубилась в сочинения по фармацевтике, изучая все, что написано там о ядах. В двух местах на полях книг сохранились даже пометки: экспертиза установила, что они были сделаны ее рукой. К тому же (случается и такое!) именно эти книги, кроме нее, не заказывал многие годы вообще ни один читатель.

Легко догадаться о том, что было после. Труднее – о том, что было после этого «после». «Ты клятвопреступник! – восклицала она, когда Виктор, отравленный какой-то безумной смесью, уже корчился в агонии, утратив способность даже кричать. – Ты обманул мою Златочку! Ты надругался над ее светлой памятью! Я имею теперь полное право тебя убить!» Никто не слышал этих слов – она сама записала их в своем дневнике. Записала и то, что случилось потом, когда, после адских мучений, Виктор уже погиб.

Она заранее готовилась и к этому. Самым обыкновенным топором Таланкина отрубила его голову и завела на патефоне предварительно купленную пластинку: танец Саломеи из оперы Рихарда Штрауса. Она исполняла его на каком-то просмотре при поступлении в балетную труппу. И была принята! С тех пор этот танец она считала – цитирую ее показания на следствии – своим «талисманом, который не только

приносит счастье, но открывает все двери». Трудно понять, какие двери собиралась она открыть на этот раз. Но в том, что преступление ей удастся скрыть, – не сомневалась.

В ее руках был теперь не реквизит, не муляж – истинная голова истинной жертвы… Ночью она закопала ее под окном той развалюхи, где прошли их бурные дни и ночи. Обезглавленный труп вывезла за город, на какую-то свалку. И вскоре была арестована: как поиск привел именно к ней – это большого интереса не представляет. Могу лишь сказать, что сыщики – те, что занимались раскрытием уголовных преступлений, подлинных, а не мнимых, – были тогда в своем большинстве профессионалами высокой пробы, страх вполне реальных последствий повелевал им не расслабляться и все время показывать, что называется, товар лицом. Правда, и сами преступники были не столь искусными, как ныне, да и на подкуп, конечно, за ничтожнейшим исключением, рассчитывать не могли.

У Таланкиной не было никого, кто мог бы пригласить для нее адвоката. А он – по процедуре – ей полагался: в таких случаях его бесплатно предоставляла коллегия. Узнав про телефонограмму из городского суда и – в общих чертах – о рассказанном выше сюжете, им загорелся самый знаменитый в те годы московский адвокат Илья Брауде, участник крупнейших судебных процессов, многие из которых не могли миновать весьма и весьма селективную в таких случаях со-

ветскую прессу. Я много рассказываю о делах, проведенных с ним, оттого и представляю его заново в каждом рассказе.

Брауде потребовал, чтобы защита была поручена только ему. Все свои самые знаменитые дела он вел, так всегда получалось, совершенно бесплатно. Но они-то и приносили ему ту известность, которой неизменно – в куда более заурядных делах – сопутствуют деньги. Мне повезло: перед тем, как стать полноправным членом коллегии адвокатов, я проходил стажировку у Брауде и на этих правах был допущен к процессу.

Другого подобного процесса мне видеть не приходилось. Не столько по существу, сколько по атмосфере, царившей в зале. Председательствовала одна из старейшин советской юстиции, член Московского городского суда Чувилина, обвинял один из самых известных в то время прокуроров Николай Шанявский. Народу слетелось видимо-невидимо, за отсутствием мест многие расположились прямо на полу, на ступеньках, ведущих к судейскому столу, и даже просто рядом с Таланкиной – на скамье подсудимых, слишком просторной для этого дела, рассчитанной не на одного, а на нескольких обвиняемых. Непосвященный мог сразу и не разобрать, кто на этой скамье подсудимый, а кто просто зритель. Значительную часть этих зрителей составляли студенты медицинского института – их привела с собой профессор Фелинская, знаменитый в ту пору специалист по судебной психиатрии: она выступала в роли эксперта.

В своем гимназическом наряде, с косой через плечо, Таланкина чувствовала себя актрисой на сцене – кому-то томно улыбалась, кому-то посылала воздушные поцелуи. Я сидел рядом с Брауде, спиной к ней: оборачиваясь, видел ее – казалось, силком натянутую на череп – зловещую маску и запавшие голубые глаза с густо намазанными тушью ресницами.

В перерыве проникшиеся ко мне симпатией девочки-секретарши, хихикая, провели меня в какой-то подвальный чулан, где хранилось еще одно вещественное доказательство: оно фигурировало в материалах дела, но не выставлялось напоказ в зале суда. Это был заспиртованный в банке пенис несчастного Виктора: до самого ареста Таланкиной он служил главным украшением того закутка, где свершилось убийство и где она продолжала жить – весьма своеобразный дизайн в захламленном и мрачном логове.

На этом процессе Брауде чувствовал себя в своей стихии. Излюбленным методом его защиты были аргументированные ходатайства о признании подсудимого невменяемым. Он и диссертацию написал об этом – о том, как психическая болезнь освобождает совсем от ответственности или делает ее менее суровой.

Это много позже психушка стала пострашней и лагеря, и тюрьмы – в шестидесятые-восьмидесятые годы от карательной медицины старались избавиться все, кому ее навязывали спецслужбы. А в те, более ранние, времена психиатрическая

клиника с полным к тому основанием считалась избавлением от куда большего зла. Гулаг, во всяком случае, не шел с ней ни в какое сравнение. Адвокат, которому удавалось так повернуть дело, чтобы его клиента поместили в психишку, считал себя победителем. И действительно был таковым.

В деле Таланкиной эта позиция напрашивалась сама собой. Но профессор Фелинская спутала все карты защиты. Очень яркая, эффектная, крупная, уверенная в своей неотразимости и своей компетентности, с несомненным ораторским даром, она убедительно – по крайней мере, на первый взгляд – доказывала, что в данном случае речь идет об имитации душевной болезни очень опасным для общества, предельно развращенным и извращенным во всех отношениях человеком.

Давая заключение, она обращалась не столько к суду, не столько к прокурору и адвокату, сколько к залу – к своим студентам, не сводившим с нее восхищенных глаз и покрывшим ее страстную речь бурными аплодисментами. В советском суде это было просто немыслимо! Нарочито бесстрастная Чувилина взвилась от возмущения. Особо восторженных пришлось выводить из зала. Увлекшись этим занятием, конвой на какое-то время оставил Таланкину одну, и она свободно обошла несколько приглянувшихся ей мужчин, обольстительно заглядывала в глаза, многозначительно и благодарно пожимала им руки. Потом ее возвратили на отведенное ей место – процесс продолжался.

Последовал еще один неожиданный поворот: получив слово для обвинительной речи, Шанявский произнес то, что никогда еще не звучало в зале суда и не было предусмотрено никаким законом. Он сказал, что не может позволить себе обвинять человека, которого он убежденно считает душевнобольным. Но и отказаться от обвинения при наличии экспертного заключения о вменяемости подсудимой не может тоже.

«Как поступить? – спрашивал он вслух и суд, и себя. Суд безмолствовал. Шанявский принял решение. – Мне не остается ничего другого, – сказал прокурор, – как отказаться от речи и от дальнейшего участия в процессе».

С этими словами, на глазах у обескураженных судей, Шанявский поднялся и, опираясь на палку (он сильно хромал), проковылял к двери.

Вот тут-то и наступил для Брауде его звездный час. Оппонентом осталась одна Фелинская. Но в отличие от прокурора она – эксперт – не имела по закону права на ответную реплику. Единственное (оно же последнее) слово сохранялось за адвокатом. Он мог говорить все, что хотел, Фелинской довелось лишь молча слушать его и сардонически улыбаться.

Брауде ухватился за одно наиболее слабое место в речи Фелинской: она утверждала, что, подробно излагая в дневнике хрестоматийные симптомы своей мнимой душевной болезни, Таланкина, напротив, демонстрирует критическое к себе отношение, «взгляд со стороны», а это является при-

знаком душевно здорового человека. «В том, что несведущим людям кажется свидетельством болезни, – восклицала Фелинская, – специалисты легко усматривают симуляцию». Процитировав этот пассаж из ее выступления, Брауде впился в Фелинскую цепким взглядом и, хорошо зная, что ответить ему она все равно не сможет, стал шпынять ее риторическими вопросами.

– Значит, Достоевский не страдал эпилепсией? Он же детально воспроизвел все ее симптомы в «Идиоте». А у Мопассана не было раздвоенного сознания, не было мании преследования, он не страдал кошмаром галлюцинаций? Значит, он все это попросту симулировал, раз сумел написать «Орля» и с беспощадной точностью воспроизвести все признаки своей болезни? Тогда, выходит, и у Есенина не было никакой белой горячки, если он точнее и лучше всякого психиатра воспроизвел ее симптомы в «Черном человеке»? Вы мне скажете: эвон, куда хватил! При чем тут Таланкина – рядом с Достоевским, Есениным и Мопассаном? Но у нас ведь не урок истории литературы, а – волей-неволей, нас вынудила к этому профессор Фелинская, – урок психиатрии. Для врача нет и не может быть писателей и балерин – есть только больные. И если больные имеют элементарный багаж знаний, если они еще не дошли до полного распада сознания, то они остаются способными описывать свои переживания. Одни – гениально, как это сделали названные мною классики. Другие – в меру своих ординарных способностей, как это сдела-

ла Таланкина. Ваша карта бита, профессор, как сказал один герой одной повести пера одного писателя.

Аплодировать было некому. Но (возможно, мне так показалось) непререкаемый авторитет Фелинской в глазах ее студентов чуть-чуть пошатнулся. Во всяком случае, Брауде заставил их о чем-то задуматься и подвергнуть критическому анализу то, что считалось бесспорным.

И только судью он не заставил задуматься ни о чем. На итог процесса блестящий его монолог (один из последних, кстати сказать, в его долголетней и очень успешной карьере) влияния не оказал.

Таланкину осудили на десять лет и отправили в какой-то уральский лагерь. Помнится, Брауде говорил мне, что получил от нее из лагеря одно сумбурное письмо, содержание которого осталось для меня не известным. Вскоре он умер – рухнул внезапно, едва перевалив семидесятилетний рубеж. На похоронах я увидел Чувилину – она принесла букет хризантем и, ни с кем не обмолвившись ни единым словом, ушла.

А еще через несколько месяцев к ней, в служебный ее кабинет, явилась Таланкина: все такая же Баба-Яга, но со здоровым румянцем на впалых щеках. Уральские эксперты признали ее душевнобольной, и, чтобы не затевать многосложный новый процесс, местная Фемида пошла по простейшему пути: тамошние судьи «сактировали» ее, то есть освободили

от дальнейшего отбытия наказания по состоянию здоровья. Тогда это часто практиковалось «для разгрузки колоний»: зэков все прибывало и прибывало, вместить их гулаговские резервации уже не могли, нужны были только здоровые, способные тянуть лямку рабского труда – даже в женских лагерях, а не только в мужских.

Счастливая Таланкина расцеловала Чувилину, долго благодарила за внимание к ней, уверяла, что в восторге от того, как прошел судебный процесс, кляла Фелинскую и всплакнула о Брауде. Она просила вернуть дорогие ее сердцу реликвии – дневник и заспиртованный пенис, – поскольку для правосудия они уже значения не имели.

Чувилина сразу же выразила готовность выполнить обе просьбы и, оставив ее в кабинете под присмотром своей секретарши, пошла за «вещдоками». На самом же деле – в соседнюю комнату, чтобы вызвать по телефону конвой. Взяла на себя смелость действовать незамедлительно, полагая, что уральский суд нарушил закон: ее приговор никем не отменен и, стало быть, оставаясь в силе, должен быть исполнен.

«Беглянку» вернули в лагерь – только в другой. Годы спустя, столкнувшись с Чувилиной в Мосгорсуде, я напомнил ей ту историю и спросил, каким было ее продолжение. Этого она не знала, зато объяснила, каким образом наша актриса оказалась временно на свободе. Она влюбила в себя и начальника лагеря, где отбывала наказание (по стыдливо-официальной советской терминологии – конечно, не лагеря, а

«исправительно-трудового учреждения»), да еще и старшего по должности врача из медчасти. Несколько месяцев обучала их таинствам изощренной любви, о которых в своей глухомани те не имели ни малейшего представления.

Остальное было уже делом техники. Тем паче, что, порабощенные ее магнетизмом, два мужика воспылали ревностью друг к другу, но вовремя спохватились, трезво сообразив, что от этой колдуньи лучше избавиться как можно скорей. К тому же, плотно пройдя у нее курс обучения, каждый из них – без хлопот и угрозы тяжких последствий – мог найти себе и другие объекты для тех же утех.

Один ветеран адвокатуры рассказывал мне, что где-то в конце шестидесятых годов встретил редкую фамилию «Таланкина-Крылова» совсем в другом деле, где ее носительница выступала всего лишь свидетелем, но, судя по протоколу, доставлена была на процесс под конвоем. Срок наказания по делу, о котором я рассказал, к тому времени уже истек, – значит, она вляпалась снова, но в какое-то совершенно другое.

Удивляться не приходилось: речь шла о провинциальном подпольном вертепе, куда под разными предлогами завлекались малолетние обоего пола. Остаться в стороне от таких утех Таланкина, естественно, не могла. И ее шестьдесят, даже с хвостиком, лет не могли быть помехой: как вошла в роль гимназистки, так в ней и осталась.

В моей же судьбе она сыграла другую роль: как слышу – любую! – музыку Рихарда Штрауса, сразу возникает перед

глазами ее зловещая маска. Маска Бабы-Яги. И поделать с этим я ничего не могу.

Первая командировка

Не помню уже, как попало ко мне дело Николая Кислякова. Кажется, один адвокат заболел, другой отказался.

Была осень, дождь зарядил надолго, а ехать предстояло в крохотный городок, жить в доме приезжих, шлепать каждый день по грязи до суда и тюрьмы. И добро бы надежда была хоть какая – помочь, спасти! Тогда и с грязью смиришься, и с номером «люкс» о семь коек…

Может, и я бы нашел предлог уклониться, но простое любопытство заставило меня взять это дело. Никогда еще в таких кровавых процессах я не участвовал. Не помощником маститых коллег – адвокатом: полноправным и полноценным. Надо же было когда-нибудь начинать!

И я взялся.

Взялся, хоть и понимал, что пользы от защиты не будет: непростительно жестоко свершенное преступление, и представить его иным не под силу вообще никому. Постепенно к этому привыкаешь, смиряешься с мыслью, что поможешь не каждому, и вины твоей в этом нет никакой. Ведь и врач вылечивает не всех – и под ножом хирурга умирают, и на больничной койке в окружении медицинских светил. Выходит, если мало надежд, то и лечить не стоит?

Кто-то сказал мне, что лет десять назад точно такое же дело вел московский адвокат Казначеев. И вроде бы даже с

успехом. Вот я и решил ему позвонить, заручиться советом, прежде чем отправиться в путь.

С Сергеем Константиновичем Казначеевым мы почти не были знакомы. Впрочем, я-то его знал хорошо, а он меня вряд ли. И это немудрено: ведь я еще был новичок, а он – защитник с большим и, быть может, заслуженным именем. Адвокат-орденоносец: редкость в ту пору невероятная! Только – важное уточнение – орден дали ему не за профессиональные достижения, а за то, что в лад подыграл прокурору Вышинскому на последнем из трех Больших московских процессов. Так подыграл, что, защищая, топил своего подзащитного похлеще, чем обвинитель. Но в обычных уголовных делах он, кажется, был на высоте.

Результативность у адвоката в советское время была небольшой. Если честно сказать, то ничтожной. Приговор даже по самому заурядному уголовному делу чаще всего бывал предрешен, участие защиты фактически сводилось всего лишь к тому, чтобы процессу придать не слишком уж инквизиционный характер. На этом фоне успешный итог иных дел, которые вел Казначеев, казался из ряда вон выходящим. Таким он, конечно, и был.

За внешней сухостью его адвокатских речей ощущалась взволнованность неподдельная – убежденностью в своей правоте он заражал, случалось, даже твердокаменных судей. Еще большее впечатление производила железная логичность его построений, лишенных даже малейшей зауми: сколь бы

сложной ни была материя, которой ему приходилось касаться, его речи, ходатайства, заявления воспринимались и судьями, и кивалами-заседателями настолько легко, что любой тугодум имел все основания считать себя семи пядей во лбу. И невольно с ним соглашался, сам, быть может, того не желая. Допросы свидетелей Казначеев вел уважительно, без любимых адвокатами подковырок, которые неизменно давали лишь обратный эффект. Так что, случалось, свидетели обвинения под его незаметным воздействием вдруг меняли свои показания, превращаясь на глазах изумленного прокурора в свидетелей защиты.

Даже подневольное участие в кровавом фарсе – процессе Бухарина и других, где Казначееву, как и двум другим его коллегам, пришлось быть не столько защитником, сколько вторым обвинителем, даже оно не подпортило его репутацию. Скорее наоборот. Все понимали: в больших верхах выбор пал на него и на Коммодова с Брауде как раз потому, что и власти считались с их устоявшимся авторитетом. Роль декоративной ширмы могла быть поручена, естественно, адвокату с заслуженным именем, а не абы кому…

Позвонил Казначееву, назвался.

– Никак, – говорю, – не решу: браться ли мне за одно уголовное дело.

– Браться, – сказал Казначеев. – Обазательно браться!

– Вы, стало быть, знаете, о каком деле идет речь?

– Понятия не имею. Просто дел, за которые адвокату не

следует браться, не существует.

Надо было сказать: «да, да, конечно», «ну, разумеется, само собой», потому что таких дел действительно не существует, и юристу, который не знает азбуки своей профессии, нечего делать в адвокатуре. Но что это за разговор, если только поддакивать?..

– Так ведь преступление-то ужасное.

– Тем более. – Казначеев заговорил со мной строго и даже, мне показалось, со все нарастающим раздражением. – Чем оно ужаснее, тем ваша роль важнее.

– И надежды нет никакой – все доказано, все…

– То есть как доказано? Кем? Когда? Ведь суд еще не состоялся. Как же можно говорить, что доказано хоть что-то? И почему это вы, именно вы, адвокат, уже вынесли приговор. Вы разве судья?

Я попробовал возразить, но он перебил меня, заговорил быстро и нервно:

– Наверно, убийство, не так ли?

– Да.

– Месть? Корысть? Или из низменных побуждений?..

– Из очень низменных…

– Убита женщина?

– Ребенок…

– Кем?

– Отчимом.

– Убийца сознался?

– В том-то и дело! Полностью… Сначала отпирался, а потом сознался во всем.

– Вот видите: сначала не признавался.

– Что с того? Надеялся выкрутиться. А потом улики приперли, вот и сознался.

– Ну, это еще не факт! Мать ничего не знала?

– Напротив, была его соучастницей.

– Вот это да!.. Завидую вам: работка предстоит интересная…

Я напомнил: недавно ему попалась как раз такая работка, и он ее выполнил с честью. Но – нет: похожего дела у Казначеева не было, а если и было, то очень давно, и вовсе он не выиграл его – проиграл. Словом, точь-в точь как в «том» анекдоте…

Мудрено ли?! Если оно было хоть чуть похоже на дело Николая Кислякова, то и правда – как его выиграть?

Тоне я так и сказал:

– Хорошо, я поеду. Но надежды нет никакой – имейте это в виду. Никакой, даже крошечной…

Ее лицо скривилось, она заплакала, заголосила, и это было так страшно, что в нашей консультации (так назывались тогда адвокатские конторы), притерпевшейся и к горю, и к слезам, поднялся переполох. Кое-как мы ее успокоили, она смолкла, но слезы все текли по смуглому, в рябинках и морщинах, лицу, постаревшему сразу на десять лет. Она и так-то

была некрасива – скуластая, с приплюснутым носом, почти безбровая матрешка, в небрежно повязанном пестром платке. Тоненькая, стройная, она подчас казалась ребенком, которого сломила совсем недетская, не ко времени грянувшая беда.

Брату ее, Николаю, грозил расстрел…

Мы поехали вместе, в прокуренном вагоне, нетопленом и промозглом. Поезд был не то чтобы пригородный, но и не слишком дальний, людей набилось изрядно, хотя уже через час вагон стал пустеть. А мы с Тоней сидели в углу и, никого не замечая, вели свой разговор.

Она все повторяла: «Нет, нет, он ни в чем не виноват, никогда не поверю, что Колька убил», а я отвечал: «Вот суд поверит – и конец!»

Я был безжалостен. Тогда мне казалось, что нагую, суровую правду нужно говорить непременно в глаза. А Тоня плакала, не стыдясь людей, и твердила свое: «Неправда это, не верю, не верю…»

– Сколько ему? – спросил я.

– Двадцать два.

– А вам?

Тоня всхлипнула:

– Ровесники мы…

– Близнецы?

Она прикусила губу, запнулась. И снова заплакала.

– Не сестра я ему, а жена… Первая, понимаете? А Лизка –

вторая. Ушел он к ней от меня. И вот – влип… А я постеснялась открыться, – вдруг скажете, что, мол, не мое теперь дело, чужая я, или – как бы это сказать – посторонняя…

Они жили неплохо, пока он не встретился с Лизой. А Лиза была городской знаменитостью – парикмахером мужского зала. Побриться у нее считал за честь даже председатель местного горкомхоза. Потому что Лиза слыла женщиной неслыханной красоты, и это было не так далеко от истины. Потом, когда я увидел ее – в суде, подурневшую, с запавшими глазами, перепачканную пунцовой помадой, еще резче подчеркивавшей неживую бледность одутловатого лица, – даже тогда я понял, что Тоне она не чета и что сох по ней, наверно, не один Кисляков.

Была она замужем за человеком солидным, в годах, инженером с зарплатой и положением. Он любил ее до беспамятства, сам обед готовил и мыл полы – сберегал ее красоту. Все ей завидовали, и она, смеясь, говорила, что тоже завидует себе самой.

Потом появился Кисляков, водитель автобуса, что ходит от завода до рынка, – и разом сломались обе семьи…

Инженер был гордым и сильным человеком: ушел, не сказав ни слова, уехал к матери в Подмосковье, и никто не знал, как ему лихо, – а ему было очень лихо, потому что остался он не только без любимой, но еще и без сына.

Сыну шел четвертый год. Лиза сказала: «Генку не отдам –

ему материнский уход нужен». И отец покорился. Да если бы и не покорился! Да если и стал бы судиться!.. Ханжеская советская юстиция, ни с кем и ни с чем не считаясь, всегда была на стороне матери, лицемерно демонстрируя ничего ей не стоившим образом великую заботу о женщине. Гноила ее, как могла, но зато «защищала» от мужа…

Через несколько месяцев – телеграмма: «Ваш сын погиб. Приезжайте немедленно». И подпись: прокурор района.

Милицию вызвал сам Кисляков. Милицию и врача. «Скорее, сын умирает!» – крикнул он в телефонную трубку.

Сын не умирал – он уже умер. «Давно, – заметил доктор, – часа два назад».

Кисляков не спорил.

– Я вернулся домой, – рассказывал он, – слышу – тихо, никого вроде нет. А Генка один оставался, и дверь заперта, так что он убежать не мог. Я его на кухне нашел… Лежал лицом вниз, в крови, и не двигался. Но мне показалось – дышал. Я схватил его, перенес на кровать, стал искусственное дыхание делать, как в армии нас учили. Все впустую…

– А где мать ребенка? – спросили его.

Он спохватился:

– Верно, что ж это я?! Мать на работе, совсем забыл позвонить ей, растерялся… Надо Лизу вызвать. И отца…

– Какого отца? А вы кто же? – Следователь был не из местных, городских знаменитостей не знал.

– Я?.. Отец, да не совсем. Отчим…

Лиза прибежала, запыхавшись, в хрустяще-белом халате, кинулась к сыну, но кричала негромко, и слез почти не было, и озиралась испуганно, и повторяла зачем-то: «А что теперь будет?» Это не следователь заметил, не милиционер, не врач, а соседи, безмолвно стоявшие поодаль и подмечавшие, как водится в таких случаях, все до мельчайшей детали. Их наблюдения вошли потом в протокол. И стали уликой.

А отец, инженер Додонов Дмитрий Архипович, об этих детальках не знал. Но и не зная, был убежден: Кисляков убил, больше некому. Один? Едва ли… С женой!

Нет, не месть говорила в нем, не злоба. Генку Кисляков не любил и этого никогда не скрывал. Даже Лиза сказала как-то Додонову, когда приезжал навещать сына:

– Коля советует парня тебе отдать. А я все равно не отдам. Не могу без него, понял?

Тогда ему казалось, что это и правда любовь говорит в ней, материнская любовь к сыну. Теперь он думал иначе: что бы значило это признание? Для чего оно? Может быть, для того, чтобы отвести от себя подозрения, если что-то случится? Выходит, знала, что может случиться. Или догадывалась хотя бы…

Он написал заявление, размножил его и отправил – не в один адрес, а в несколько. «Требую расстрелять взбесившихся извергов, убивших моего ребенка: родную мать и ее му-

жа» – так оно начиналась. Неземная любовь к бывшей жене обернулась жаждой ее погибели. В этом тоже не было никакой новизны – страсть наизнанку не раз описана в литературе, да и пословицы про один только шаг от любви до ненависти существуют на всех языках.

В прокуратуре и без того склонялись к этой же версии, потому что заключение эксперта почти исключало другую. На горле и шее ребенка эксперт нашел много царапин, по форме напоминающих серпик лунного месяца, – следы от ногтей… И – что еще важнее – такие повреждения в легких, которые всегда остаются, если горло сдавить руками.

Кому же еще, если не Кислякову, Гена мог встать поперек дороги? Кто мог неведомо как проникнуть в дом и убить ребенка, которому не было четырех лет? Да и зачем? Все вещи лежали нетронутыми, следов чужого присутствия не было никаких. На лице и голове много ушибов и ссадин – видно, мальчик пытался вырваться, борясь за свою жизнь.

И однако решительно ничего, что говорило бы о борьбе, ни в кухне, ни в комнатах найти не смогли, только стул с обломанной ножкой. Был он сломан давным-давно, это все подтвердили – знакомые и соседи. Даже Додонов, и он подтвердил. Зато на руках Кислякова были царапины, а костюм его, перепачканный кровью, говорил сам за себя.

Ну, а вдруг все так ловко подстроено, чтобы поиск убийцы направить по ложному следу? Если ребенка убили из мести? Сделали жертвой, чтобы свести с кем-то счеты? С матерью,

например. Или с Кисляковым?

С матерью – чтобы лишить ее сына.

С Кисляковым – потому что подозрение, конечно же, пало бы на него. В первую очередь на него.

Следствие думало и об этом. И Додонова подозревало оно, и Тоню. Да, и Тоню…

Что поделать? Для юриста нет людей заведомо честных. И заведомо нечестных нет тоже. Подозревают любого, к кому ведет хоть какая-то нить. Лишь бы только подозрение само по себе не превратилось в улику. В улику без доказательств.

Так бывает.

Увы, так бывает.

В этом деле было не так.

Ничто не подтверждало версию, что к убийству причастна Тоня. А Додонов – это установили совершенно точно – в час, когда погиб его сын, был в Москве, в двухстах километрах отсюда, участвовал в совещании, которое проводил главк.

Стало быть, Кисляков. Больше некому. Что с того, что сначала он отпирался? Потом-то сознался. Рассказал, как все это было.

Ему не хотелось убивать Генку – ведь не изверг же он, как думает Додонов. Просто очень уж сильно похож был Гена на своего отца, так похож, что тот словно бы жил вместе с ними. Сколько же можно терпеть эту пытку? Да и вообще – зачем ему пасынок? Сына хотел он – родного, своего. Сотни раз

говорил Лизе: «Отдай Генку отцу, так будет лучше для всех. А ты родишь другого…» Уперлась, и все! И вот – довела…

С нормальной логикой человеческих поступков эта схема вязалась не слишком. Даже, пожалуй, совсем не вязалась: в жизни одно, на бумаге другое. Но бумага терпит еще не такое!.. Убить ребенка, потому что тот похож на отца?! Сюжет для античной трагедии, но не для наших реалий. Впрочем, чем меньше выглядит правдой, тем ближе к истине. Этот кажущийся парадокс наглядней всего проявляет себя в суде. БЫВАЕТ то, чего по всем разумным понятиям НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.

Так что все возможно. Даже то, что совсем невозможно. И все-таки есть вопрос, который пока не имеет ответа. Он остается, к какой бы версии мы ни склонились: почему Кисляков не ударил палец о палец, чтобы хоть как-то отвести подозрения от себя?

Может быть, в этом вопросе как раз есть та спасительная соломинка, за которую хватается утопающий? Может быть, он-то и даст защите хоть что-то похожее на позицию, которую не стыдно отстаивать? Значит, не такой уж он холодный, безжалостный циник, этот убийца, а жертва страстей, необузданных, сильных порывов, значит, не расчет руководил им в роковую минуту, а чувство, с которым не мог совладать. Значит, нет в его действиях заранее обдуманного намерения, тщательной подготовки, а есть внезапная реакция на какой-то конфликт, возникший между ним и ребенком.

Конечно, этого слишком мало для оправдания, даже если принять мою версию. Но все-таки можно просить о снисхождении. О замене одной статьи Уголовного кодекса, на другую – помягче. Иначе – язык не повернется…

С этой мыслью я и пришел к нему в тюрьму, чтобы поделиться планом защиты. Тоня показывала мне его фотографии, я хорошо их запомнил. Но человека, который сидел передо мной, было трудно узнать. Он зарос белесой щетиной, под глазами набухли синие мешки. Левое веко дергалось, а руки нервно ковырялись в дыре на прохудившейся куртке.

Он слушал долго, не перебивая, потом вдруг улыбнулся:

– А я, между прочим, не виноват. Вы там как хотите, а я Генку не убивал. Так в суде и скажу.

– Но ведь вы же признались?! – удивился я, вспомнив свой разговор с Казначеевым.

– Ну и что? Следователь сказал: «Признавайтесь, так лучше будет. Этим вы облегчите свою участь. Все равно все доказано, и вам не отвертеться». Я подумал и – признался. Оно и верно, факты против меня. Да и раз посадили, все равно засудят, разве не так? Пишите, говорю, – я убил. А потом подумал еще раз – времени-то у меня здесь хватает. Зачем, думаю, зря грех на душу брать? Если под расстрел попаду, буду хоть знать, что сам я к этому руки не приложил. А не расстреляют – так еще поборемся.

– Хорошо, пусть не вы, но кто же тогда убил Гену?

– Спросите о чем-нибудь полегче, – развел руками Кис-

ляков.

Я сижу в квартире Кисляковых, опустевшей и неуютной, где хозяйничает мать Николая – она приехала издалека. А Тоня, робея, приводит ко мне все новых и новых соседей в надежде, что эти беседы помогут хоть что-то понять.

Ключ от входной двери был один, его оставляли под ковриком на крыльце, и об этом знал чуть ли не весь дом. Когда взрослые уходили, они запирали Гену, чтобы не убежал на улицу, но войти в квартиру практически мог любой.

Не здесь ли таится разгадка? Если знать, когда взрослых нет дома, и найти ключ, можно спокойно зайти в квартиру. Это мог сделать человек, к семье достаточно близкий, – тот, кто часто бывает в доме. Потому хотя бы, что иначе привлек бы внимание соседей. Да и Гена, испугавшись чужого, мог поднять крик.

Конечно, это был (если был!) человек близкий, кровно чем-то задетый, чужой не стал бы убивать ребенка, разве что тот оказался невольным свидетелем тяжкого преступления. Но – какого? Чему мог быть свидетелем совсем еще малый ребенок в тот утренний час, когда мать ушла на работу, а отчим в пивную: он работал после обеда и спешил выпить пораньше, чтобы успел пройти хмель.

Но чья же, чья это месть, чья обида, обернувшаяся чудовищным зверством? Мы перебрали всех завсегдатаев этого дома, и, когда дошли до Клавдии, Тоня вдруг прикусила губу. Клавдия тоже была парикмахершей, работала вместе с

Лизой, только в другую смену. Раньше она запросто бывала у Кисляковых – закадычная подруга, веселая, разбитная. А потом бывать перестала. Никто не знал – почему. Вроде старалась она отбить Кислякова, но тот посмеялся над ней, а Лиза прогнала. И Клавдия сказала, уходя: «Помни, даром тебе, Лизка, это не пройдет, наплачешься еще, и то – скоро».

– Ерунда! – обрезал Кисляков, когда я высказал ему свое предположение. – Не так все было. Просто она меня в кино позвала, а Лиза говорит: «Не стыдно тебе, Клавдия, при жене ему на шею вешаться?» Та посмеялась и ушла. Чтобы из-за этого дитя убивать?! Да вы что?!

И Тоня сказала, подумав:

– Нет, не может этого быть. Не такая она девчонка…

Это был не довод, конечно: «не такая». Но ссора – тоже еще не улика.

Наверно, все же это сам Кисляков. Некому больше. И незачем. Ведь и Лиза призналась, не он один. Хоть и не сразу, а все же призналась.

«Раз Николай открыл правду, то и мне ничего другого не остается, – написала она прокурору. – Вместе мы задумали это дело, а он исполнил. Боялась я, как бы он не бросил меня из-за сына. Больше ничего не скажу».

Верно, ничего не сказала. Есть несколько актов: «Отвечать на вопросы отказывается». Тоже, между прочим, понятно: молчать легче.

И снова – разговоры с соседями… Снова вспоминают они

то страшное утро – за минутой минуту. Как ждали Лизу, и как она прибежала, и как себя вела.

– Странно, – говорит одна женщина. – Очень странно. Вошла, на Геночку даже не посмотрела – сразу на Николая. Долго смотрела, губы все шевелились. И ни разу не вскрикнула.

– Да, странно вела себя, – подтверждает другая, сухонькой ладошкой разрубая воздух. – Но никуда она не смотрела, а закрыла глаза руками, стала и стоит: «Колька, – кричит, – что же теперь будет?» Когда такое горе, на людях стараются быть, а она нас выпроваживает. Не наше, мол, дело…

– Это не она выпроваживала, а милиция, – вмешалась третья. – Лейтенант сказал: «Посторонних прошу удалиться». А Лизка еще спросила: «Я тоже посторонняя?» Родного сына убили, акт составляют, а она себя посторонней считает. Намекает, значит, что она тут ни при чем…

И я вспомнил наглядный урок, который дал нам в студенческие мои годы профессор Иван Николаевич Якимов, повторив по-своему известный эксперимент Анатолия Федоровича Кони. «Сейчас произойдет одно важное событие, – сказал он как-то на лекции. – Смотрите и запоминайте». «Важное событие» вошло в зал в образе тети Маши, нашей уборщицы, – она, как обычно, принесла профессору чай. Потом каждый из нас, не общаясь друг с другом, написал все, что он запомнил: как вошла, как была одета, что сделала сначала и что потом, и как встретил ее Якимов, и как проводил,

сразу ли сделал глоток или чуть погодя, и который был час. Во всех сочинениях совпало только одно: тетя Маша принесла чай…

Если шла борьба, если ребенок вырывался и кричал, то должен же был хоть кто-нибудь слышать шум. Правда, силы были неравны: взрослый мужчина и ребенок, не достигший еще четырех лет. Но ссадин и синяков было так много, что без борьбы никак не обошлось. Откуда же иначе им взяться, ссадинам и синякам? Значит, ребенок какое-то время бился за жизнь, притом вряд ли – безмолвно. Неужели убийца не мог справиться со своей беспомощной жертвой как-то иначе, не подвергая себя слишком уж очевидному риску?

Я ушел к соседям, чтобы проверить, слышно ли там что-нибудь, если у Кисляковых шум. Все было слышно, хотя Тоня, по-моему, перестаралась: слишком уж яростно колотила она о стены и мебель, слишком натурально билась в кухне об пол – в том самом месте, где Гену нашли мертвым. Но, вернувшись, я застал ее не плачущей, а счастливой.

– Убедились? – торжествовала она. – Все слышно!

Да, все было слышно, однако само по себе это не говорило еще ни о чем: соседи могли слышать шум, но значения ему не придать.

В мой «отель», где я жил эти дни, она примчалась на следующее утро чуть свет. Я встретил ее упреком:

– Тоня, нельзя так… По городу уже слух пустили, что у вас с приезжим адвокатом роман.

– Знаю. Плевать! – отмахнулась она. – Вот, посмотрите…

Сорвав с себя платок, Тоня обнажила лицо и шею. Вся она была в ссадинах, в плохо запекшихся ранках.

– Что же это вы вчера с собою наделали?! – воскликнул я. – Отправляйтесь живо в больницу.

– Зачем? – усмехнулась она. – И так заживет. Присмотритесь-ка лучше к ранкам. Не узнаете?

Уже через десять минут мы были снова у Кисляковых. Ну да, конечно, вот он, трухлявый от времени, ржавый лист железа, прибитый к полу у печки. Его загнувшиеся вверх рваные края похожи на кружево. Это о них вчера поранилась Тоня. Следы порезов напоминают серпики лунного месяца, совсем как на лице погибшего мальчика.

Лист прибит у печки, а слева от него водопроводная раковина…

– Узнайте, пожалуйста, у вашей подопечной, – говорю я местному адвокату, который защищает Лизу, – оставляла ли она Гене воды, когда из дома уходили взрослые? И уверена ли она по-прежнему в своей вине?

Через несколько часов – ответ: воды не оставляли, Гена сам взбирался на стул и пил из крана. А насчет вины?.. Когда узнала, что Кисляков от признания отказался, – заплакала навзрыд: «Как гора с плеч упала… Я никогда не верила, что он убил. Подозревала, но не верила. И на себя с отчаянья наговорила: сына нет, одного мужа бросила, другой – убийца, расстреляют его. Как мне жить теперь? И зачем? Вот и

созналась в том, чего не было… А раз Николай ни при чем, я-то – тем более…»

Неожиданно заиграла одна фраза из судебно-медицинского акта, которая до сих пор казалась не имеющей отношения к делу: «в желудке Геннадия Додонова обнаружено значительное количество воды». Значит, перед самой гибелью он напился. А пил он из крана. Для этого надо было взобраться на стул. У стула была отломана ножка, но им продолжали пользоваться, слегка подклеив ножку столярным клеем. Другого стула в кухне не было вообще.

Ножка подломилась, и Гена упал. Обо что же он ударился? О косяк плиты? Такой удар мог быть смертельным. И верно, на правой части черепа обнаружен след от удара, но его сочли полученным после смерти, когда Кисляков перетаскивал труп. А если – до? И эти ранки – они ведь не только на шее, но и на лице – на щеке, на носу, даже на ухе. Разве так душат?.. А вот если ребенок упал на рваный металлический лист, происхождение ранок становится объяснимым: они все на одной стороне лица, а на другой их нет совсем.

Все верно, только где же тот стул, чтобы это проверить? Мать Кислякова успела его сжечь. Откуда ей знать, что сломанный стул может спасти ее сына? И осталось незыблемым заключение экспертизы о повреждениях в легких. Повреждениях, которые бывают, как сказано там, лишь если «смерть последовала от удушения».

Этот довод один стоит всех остальных, но опровергать его

мы не можем – ведь мы не врачи. И назначить новую экспертизу мы тоже не вправе – теперь это дело суда. Только суда.

А суд не хочет ее назначать. Ему все ясно и так. Слишком много улик. И слишком они весомы. И ведь было же признание самих обвиняемых, от которого они отказались «под влиянием внепроцессуального давления». За этой витиеватой, глубокомысленной и малограмотной формулой скрывается нечто вполне очевидное: отказаться от признания своей вины, полагает суд, дал совет Кислякову его адвокат, то бишь я. А Лиза просто «пошла на поводу другого подсудимого» – так с очаровательной категоричностью и сказано в приговоре. Расстрельном – для Кислякова. Тюремном (десять лет!) – для Лизы.

Хотел было написать: сегодня и представить себе невозможно, что следователь, как инквизитор, вынуждает кого-либо признаваться в том, чего тот не совершал. Вынуждает грубо и нагло. Не обязательно пытками, не непременно побоями – «просто» угрозами и шантажом. Увы, представить очень даже возможно, хотя совсем недавно еще казалось, что эта кошмарная практика навеки осталась в советском прошлом. Не осталась. И все-таки тогда было страшнее. И безнадежней. Один на один со следователем, лишенный всякой связи с внешним миром, хорошо сознающий, что ему веры нет и не будет, а следователь всегда прав, даже когда он не прав, что любое заявление о том, как на него давили, будет названо клеветой на советское правосудие – вот в

каком положении оказывался тогда, совсем в недавние времена, заподозренный и арестованный.

Адвоката он видел впервые лишь после того, как следствие объявлялось законченным и когда помешать шантажу было уже невозможно. Сейчас все-таки по-другому: «Ни на один вопрос не отвечу, пока рядом со мной не будет моего адвоката» – так вправе теперь заявить каждый задержанный, каждый, кого полагают причастным к совершению преступления. Отказать ему невозможно – таков закон! Значит, уже не скажешь с металлом в голосе: «Предалагаю признать свою вину, иначе вам будет хуже». Пусть только скажет такое в присутствии адвоката – еще неизвестно, кому тогда будет хуже…

Кислякова подводили под пулю не в наши дни – почти за полвека до них. Поэтому хуже могло быть только ему одному. И – стало! В приговоре так и написано: «Суд не находит смягчающих вину обстоятельств, поскольку подсудимый вместо чистосердечного признания и раскаяния за содеянное пытался ввести суд в заблуждение, а также и опорочить следствие клеветническим заявлением о будто бы применявшихся к нему незаконных методах, в подтверждение чего он не привел никаких доказательств».

Все, чем грозил ему следователь, домогаясь единственно желанного, единственно приемлемого для него ответа на вопрос о своей вине, – все это сбылось. Получалось, что адвокат не помог Кислякову, а навредил.

Прошел не один месяц, и вот, наконец, Верховный суд отменил приговор, вернув дело в прокуратуру, чтобы провести новое следствие.

Это могло, наверно, случиться и раньше, если бы не Додонов: он писал, требовал, угрожал. Был он и у меня – симпатичный, скромный такой, с тихим голосом, придавленный горем, которое на него свалилось.

– Что это вы, – сказал он с укором, – о гуманизме рассуждаете, о совести, а выгораживаете убийц?

– Не убийц, а истину, – возразил я. – Не выгораживаю, а ищу. А что, по-вашему, должен делать защитник?

– Все слова, слова, слова… – Он грустно покачал головой. – Ну, хоть маленькое-то сомнение у вас есть? Хоть на минутку вы можете допустить, что эти звери – убийцы?

Я уже не мог допустить это даже и на минутку, но осторожность взяла верх.

– Сомнение остается всегда. – Я, кажется, тоже заговорил приевшимся юридическим сленгом. – Оно верный путь к отысканию истины.

– И ваша совесть будет чиста, если люди, в чьей невиновности вы убеждены не до конца, останутся на свободе?

– Ну, а ваша будет чиста, если люди, чья виновность не доказана абсолютно, окажутся за решеткой? А один из них даже расстрелян?

Кажется, он задумался. Неужели эта простейшая мысль к

нему раньше не приходила?

– Но ведь должен же кто-то ответить за смерть моего мальчика!

В его голосе звучали слезы, их искренность сомнения не вызывала. Чем мог я его утешить? Как быть в трагической ситуации, где каждый по-своему прав?..

– За несчастный случай кто может ответить?

Новая экспертиза подтвердила наши догадки. Оказалось, те изменения в легких, о которых шла речь, бывают и при повреждении костей черепа и вещества мозга. Замкнулось последнее звено в цепи рассуждений, которые имели целью только одно: доказать, что вина Кисляковых не доказана и что, значит, осудить их нельзя.

Когда до их освобождения оставались считанные недели, пришла ко мне Тоня, которая за эти месяцы стала частым гостем у нас в консультации. Я смотрел на Тоню, и так мне стало обидно за то, что ее ждет!

– Слушайте, Тоня, – напрямую сказал я, сам удивляясь своей жестокости, – а ведь Николай к вам все равно не вернется.

Я боялся ранить ее, но хотелось расставить все на свои места, чтобы она не жила напрасной надеждой.

– Знаю, – спокойно сказала Тоня. – Это дело решенное. Окончательно. Да и что теперь говорить?! Выхожу замуж. Сыграем свадьбу и уедем. Насовсем. Жить рядом с Колькой

не будем. И дружить домами не будем тоже.

– Счастливый путь, – сказал я. – Счастливый вам путь, коллега. Спасибо за помощь. Без вас я бы, наверно, не справился. Поступайте на юридический, такие, как вы, юстиции пригодятся. Поступайте, правда, я не смеюсь.

Я-то не смеялся, а вот она улыбнулась:

– Что вы! Куда уж теперь? Поздно! Буду растить детей.

Петушок

Поразительным образом адвокатская судьба подарила мне еще один – чуть не сказал: похожий – сюжет. Но схожесть была не в сюжете, это станет ясно с первых же строк, а в расстановке фигур на шахматной доске. Действующие лица, не говоря уже об их отношениях друг с другом, чем-то напомнили мне тех, что стали героями рассказа «Первая командировка», и сначала, еще не разобравшись в событиях, завершившихся обвинительным приговором, я даже подумал, что в этой схожести есть нечто мистическое. Но мистического не было ничего, абсолютно, решительно ничего – даже в том случае, если бы то, что я принял за схожесть, оказалось не мнимым, а подлинным. Только люди, не понаслышке, а изнутри знакомые с тем, что когда-то, по-старомодному, называли судебными драмами, знают, насколько часто повторяются в совершенно разных, реальных, а не сочиненных, сюжетах какие-то фабульные линии. Думаю – оттого, что судебная драма всегда замешана на сильных чувствах, а чувства эти, при всей неповторимой их индивидуальности, по природе своей одни и те же. Одни и те же движут людьми и в критические минуты толкают их на фатальные поступки.

Впрочем, эти общие и весьма тривиальные рассуждения не имеют никакого отношения к той истории, о которой я сейчас расскажу. Они больше подошли бы для вводки к со-

всем другой и тоже по-своему уникальной истории, которая нашла свое место в этой же книге. И читатель поймет, какой. Но написалось почему-то здесь. Раз написалось, пусть здесь и останется.

Встречу с Ниной Дочкиной нельзя было отложить ни на один день: приговор только что вынесен, для его обжалования оставались считанные дни, другим делам и встречам пришлось потесниться. И отказаться от встречи было нельзя: помочь медсестре просил ее пациент – мой добрый приятель, известный художник. Он обзавелся незадолго до этого развалюхой в окрестностях Звенигорода и проводил там безвыездно, рисуя и ваяя, почти целый год. После сильной травмы руки и ноги (не заметил в темноте бетонного барьерчика, споткнулся и грохнулся) она его просто вернула к жизни. Ладно – нога, но рука!.. Правая к тому же… Он не мог ею двигать – надо ли говорить, чем грозило это художнику?

– Назначили процедуры, какие-то ванночки, мази, – рассказывал он. – Нина выполняла в точности все предписания доктора, но не скрывала, что относится к ним скептически. Бралась снять проблему не предписанным мне массажем. За смешные какие-то деньги. Я сразу поверил ей. И ведь сняла! У нее руки невероятной силы. И легкости в то же время. Уже через месяц я вообще забыл о своих болячках. Помоги ей, пожалуйста, она очень хороший человек. Душевный, отзывчивый… Может еще пригодиться, хотя никаких травм,

я, конечно, тебе не желаю.

Трудно было поверить в невероятную силу тех тонких и гибких рук с длинными пальцами, которыми она в адвокатском моем закутке перебирала лежавшие на коленях бумаги. Я так в них уставился, вдохновленный восторгами моего друга-художника, что получалось, как видно, будто я разглядываю ее колени. Смутилась она, смутился я, но это не испортило нашей беседы. Сложность была в другом.

– Понимаете, Нина, – сразу предупредил я, не дожидаясь, когда все документы лягут на мой стол, – у адвокатов есть правило, нигде не записанное, но непреложное. Корпоративная солидарность, как у врачей. Если вы почему-либо не довольны своим адвокатом и хотите его сменить, то выбранный вами сменщик, прежде чем дать согласие, должен предупредить коллегу. Как бы заручиться и его согласием. Переманивать клиентов считается нарушением профессиональной этики.

– Считайте, – усмехнулась она, – что первого адвоката, которым почему-то я недовольна, вы уже предупредили и согласие его получили. – Поняла, естественно, что я ничего не понял. И сразу же уточнила, чтобы не играть в загадки. – Защитником брата на суде была я. Провалилась! И только тогда осознала, что нужен специалист. Поэтому я у вас.

Ничего подобного не только в моей адвокатской, но и вообще во всей нашей судебной практике, по-моему, не было. Закон разрешал уже родственникам подсудимых выступать

их представителями в суде, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то воспользовался таким правом. Представитель это не адвокат, его процессуальные права куда скромнее, но фактически он все равно играет во время процесса роль защитника. По идее – не вместо адвоката, а вместе с ним. Но Нина, как оказалось, хотела справиться в одиночку. И не преуспела.

Ее брат – не мнимый, как у Тони из «Первой командировки», а подлинный – был осужден на десять лет за убийство из хулиганских побуждений. Такой была формулировка обвинительного заключения, с которой его предали суду, такая же осталась и в приговоре. Не знаю, найдется ли хоть один человек, способный внятно объяснить, что такое хулиганские побуждения. Но Нина в туманные дебри юридической казуистики вообще не вторгалась и оспаривала вовсе не формулировку. Она просто была уверена, что произошла роковая ошибка и что к гибели Гошки Луганского, кумира звенигородских ребят, футболиста, шахматиста и вечного хохмача на вечерах самодеятельности в городском доме культуры, ее брат не причастен. Похоже, по крайней мере при первой прикидке, имела для этого какие-то основания.

Вот как все это было.

В конце декабря – как раз после метели, установилась мягкая, солнечная погода – приехали из Москвы на лыжную прогулку в подмосковный Звенигород несколько Гошкиных

знакомых. Всем, как и ему, по семнадцать, по восемнадцать, и все, как и он, учились уже на первом курсе разных институтов столицы. И Петя Дочкин, их сверстник, тоже учился в Москве и на выходные – последние выходные в году, перед началом первых в его жизни институтских экзаменов – приехал тоже. В отличие от Гошки он не был старожилом этого прелестного старинного городка, а появился здесь двумя годами раньше, прибыв из бесконечно далекой сибирской Читы.

В Чите жили родители и вообще вся семья. Первой откололась Нина – отправилась в Москву поступать в медицинский. Проходного балла не получила, но в отчаяние не пришла, потому что, покидая Читу, дала себе зарок: ни шагу назад! Сгодился и техникум, тем более медицинский, – закончила с одними пятерками. Окажись она врачом, могли бы заслать в другую дыру, ничуть не лучше читинской. Зато для медсестер проблем не было никаких: профессия дефицитная, все нарасхват. Так и получила она направление в звенигородскую больницу, ту самую, где пользовал страждущих еще доктор Чехов. Сняла флигелек с отдельным входом в одном из крепких бревенчатых домиков, тоже, наверно, помнивших Чехова, и вызвала из Читы брата, которому пошел уже шестнадцатый год. Петя Дочкин рванул по вызову сразу – до того, как видно, ему обрыдла Чита. Родители не противились: Катя, тринадцати лет, и девятилетний Слава все равно оставались при них. И еще оставалась надежда:

старшая дочь, так ловко устроившись, перетащит когда-нибудь всю семью тоже в Москву или в ближнее Подмосковье.

Петю приняли в здешнюю школу, хотя, как рассказывала мне Нина, пришлось изрядно помучиться: ясное дело – прописка!.. Но Нина помогала выхаживать двух тяжелых больных – мать и тещу начальника местной милиции. Так что ее мучения длились не так уж и долго и были не столь уж и тяжкими. Большим прилежанием Петя не отличался, но и к двоечникам не относился. Получив аттестат, поступил – не то что сестра – с первого же захода в считавшийся «трудным» геолого-разведочный институт. И место получил в общежитии без всяких хлопот. Никаких общежитий, отрезала Нина, ведь там можно набраться вредных привычек. К «нынешней молодежи» она относилась враждебно, себя саму к ней не причисляя: когда семнадцатилетний Петя поступил в институт, ей было уже двадцать три. «Старушка», не без кокетства уточнила она.

«Старушка» сняла в Москве брату Пете крохотную комнатенку поблизости от института. Воспитательная эта мера сильно ударила по бюджету, но на что не пойдешь ради любимого брата? Тогда и стала она подрабатывать, освоив массаж, который в моду еще не вошел. Притом не только лечебный, но и оздоровительный. По правде сказать, я как-то не отличал один от другого, и Нина – не сразу, потом, когда мы уже стали болтать и на отвлеченные темы, разъяснила: лечебный это медицинская процедура в связи с каким-ли-

бо заболеванием или чрезмерным напряжением мышц, как у спортсменов, к примеру, а оздоровительный, тот просто для поддержания формы, для хорошего настроения и возвращения сил. И еще для профилактики. Профилактики чего – не уточнила, да я и не спрашивал.

Петя отличался добрым нравом, трудолюбием и послушанием – так Нина отзывалась о нем, и в деле не нашлось ничего, что поставило бы под сомнение ее аттестацию. Брат всегда был под контролем. До такой степени под контролем, что время от времени, не довольствуясь его приездами в Звени-город на выходные, она сама отправлялась в Москву – вечерами, после работы – его навестить. И утром, чуть свет, тащилась обратно, чтобы поспеть к началу рабочего дня: обходы врачей проходили всегда спозаранок. Столь плотная опека мне показалась чрезмерной, но Нина все разъяснила:

– Опасный возраст… Легкая восприимчивость к дурному влиянию… Надо учитывать? Надо! Своя, отдельная комната – могут появиться девочки? Могут!

– Что же тут страшного? – усмехнулся я. – Ведь уже не ребенок.

– Ребенки как раз от этого и появляются, – грубовато сострила она, – а то вы не знаете нынешних девочек! Я же ему и как мать, должна следить даже за этим. Когда вызывала сюда, дала обязательство быть за ним надзирателем. Глаз не спускать… Мои старики по этой части ужас какие строгие, воспитаны в исконных сибирских нравах.

Вернемся все-таки к делу.

Две компании оказались в Звенигороде с одной и той же целью: покататься на лыжах и провести с приятностью последние в году выходные. Уик-энд, как теперь говорят во всем мире на нынешнем эсперанто. С Петей приехали два его сокурсника – те только на прогулку, вечерней электричкой им предстояло вернуться домой. С Гошкой тоже его сокурсники – им был обеспечен ночлег в просторном доме его родителей.

После прогулки и традиционного посещения жемчужин древнего городка – собора и монастыря (собор был действующим, а монастырь давным-давно превратился в дом отдыха, сначала имени Рыкова, потом кого-то еще) – все расположились невдалеке друг от друга на высоком берегу замерзшей реки, разожгли костры (у каждой компании свой), извлекли из рюкзаков привезенную закуску и приступили к отнюдь не буйному, отнюдь не обильному возлиянию.

И, как водится, началось потихоньку сближение – от нашего костра вашему костру. Водка из горлышка, кусок колбасы, снова водка… Сближение, братание и обмен всевозможными репликами, в которых не было – во всяком случае, так казалось – никакого реального содержания. Просто треп, балагурство, задиристые подначки на далекой от нормы лексике. Подначки, подогретые кайфом без тормозов и – не слишкой обильной, скажу это снова, – дозой спиртного.

Невозможно было понять, что развязало драку. И кто

ее развязал. Сначала в протоколах мелькал такой привычный мотивчик: «Звенигородские напали на приезжих московских», в других показаниях было точно наоборот: «Московские привязались к звенигородским». Но эта примитивная схема держалась недолго: в двух, сцепившихся между собою, компаниях и туземцы, и варяги отметились в равных пропорциях, поскольку к кострам, по мере того как те разгорались, подтянулись и местные: Гошкины почитатели и бывшие Петькины одноклассники. Бились всерьез, не понарошке.

Трудно понять, почему главной мишенью стал Гошка Луганский: удары, пока еще неизвестно чьи, обрушились в основном на него, и он сам дрался с особым азартом – он, а не друзья, которых зазвал из Москвы к себе в гости. Окончилась драка плачевно: Луганский рухнул. Прибывшая довольно быстро милиция вызвала «скорую», которая могла бы и не спешить: на ее долю выпало лишь констатировать смерть.

Задержали, естественно, всех. Иных потом отпустили, правда, совсем ненадолго, – под подписку о невыезде. Иных, но не Петьку: все, как один, участники потасовки заявили на первом же допросе, что смертельный удар Луганскому нанес именно он. Правда, оба его приятеля – те, что приехали с ним покататься на лыжах, – были менее категоричны: «Вроде бы он, но как разобрать, дрались все». Следствие посчитало, что их показания подтверждают свидетельства «большинства», а уклончивость вместо твердости расценило как

склонность хоть чем-то помочь загремевшему другу.

– Клевета! – отрезала Нина, когда мы стали обсуждать возможность обжаловать приговор. Она увидела, что материалы, ею принесенные, меня не вдохновили, и спешила непререкаемой категоричностью развеять мои сомнения.

– Из кожи вылезли вон, чтобы спасти Федюкова. Это он убил Луганского. Наверно, сам того не желая, но все-таки он. Протоколы прочли? «Ударил парень в клетчатой куртке…» У Федюкова куртка в клетку, и он тоже носит такую же шапку, как Петя. И даже внешне на Петю похож. Но Петя – кто? Чужой! Петушок, как его здесь прозвали. С местными не ужился, близких друзей не приобрел. А Федюков свой, да и не просто свой – он приятель Луганского. Выпили, поругались, была «куча-мала», все сцепились в одном клубке, не разобрать, кто кого бьет. Если выбирать одного, то самым подходящим оказался Петя. И для ребят, и для тутошних прокуроров. А милицейский начальник, единственный мой знакомый, который мог бы помочь разобраться по-честному, перебрался работать в Смоленск, с повышением. Такая вот я невезучая…

«Выбирать одного» – в этом Нина как раз не ошиблась. Экспертиза установила, что упасть в ходе драки, стукнуться головой о землю и погибнуть от этого Луганский мог после любого удара. Да и любой бы мог – кто от этого застрахован? Но безусловно смертельным был удар по самой голо-

ве – тот, который приписан Дочкину. Все остальные удары смертельными не были хотя бы уже потому, что после любого из них драка все еще продолжалась, и Гошка Луганский, как подтвердили свидетели, продолжал махать кулаками. Не в переносном – в буквальном смысле. Расквасил нос одному, подсек другого. А вот свое авторство на однозначно смертельный удар Дочкин напрочь отверг. И его представитель, то бишь сестра, естественно, тоже. Отвергли по причине, не показавшейся серьезной ни следствию, ни суду.

Любому опознанию того, кто заподозрен в совершении преступления, сопутствует вопрос, который следователь непременно задаст: почему опознан вами именно этот, а не кто-то другой? Так и на этот раз записано в протоколе: «Почему вы считаете, что удар по голове Луганского нанес Дочкин?» Те, кто и раньше знал Петю в лицо, ответили просто: видели своими глазами, ошибиться не могли, потому что хорошо с Петушком знакомы, даже учились вместе в одной школе. Те же, кто впервые увидел его у костра, объяснили, чем он им запомнился: «Парень, который ударил Луганского, был одет в клетчатую куртку, а на голове была спортивная шапочка «Петушок» коричневых тонов». Один из участников драки выразился еще энергичней: «Петушок здорово срубил этого парня. С виду не очень, а врезал, как боксер».

По очевидному упущению, в протоколе задержания никак не отмечено, какая одежда была на каждом из участников драки. Неопытный дознаватель просто не придал этим

деталям никакого значения, сосредоточившись на описании самого побоища. Одежду Пете, перед отправкой его в КПЗ, разрешили сменить: легкую куртку на теплое пальто, которое принесла Нина. И тоже без всякого описания – что он с себя снял, во что переоделся. Никому не пришло в голову, что на этой подробности и попробует «адвокат» Дочкина строить свою защиту.

«Не было у брата никакой клетчатой куртки, – утверждала она. – И «Петушка» не было тоже». «Был, был «Петушок»», – твердили свидетели, даже те, кто не собирался его топить: сидеть за очевидное лжесвидетельство никому не хотелось. Десятки листов уголовного дела составляют допросы, где выясняется только одно: имелись ли вообще в Петином гардеробе злосчастная куртка и «Петушок». Исход этих опросов был для Нины печальным, но она никак не хотела смириться со своим поражением.

– Их задача свалить все на Петю. Следователь сам звени-городский, и Федюков звенигородский, и все, кто замешан, тоже звенигородские. Общий сговор, и я просто не знаю, как с этим бороться. Надежда только на вас.

Надежда напрасная – это я понял сразу. И шел доморощенный адвокат по ложному пути, упрямо толкая идти по нему и меня. Между тем – так, во всяком случае, мне показалось – был и другой путь, особенно ничего не суливший, но все-таки позволявший подойти к делу с иной стороны. Как завязалась эта дурацкая драка, с чего вдруг мирное и вполне

дружелюбное водкопитие ни с того ни с сего вдруг превратилось в кулачный бой? Никаких счетов друг к другу у них вроде бы не было. Или были?

Следователь не стал копаться в истоках, его вполне устраивал результат: есть труп – значит, есть и убийца, значит, есть кого обвинять и судить. Все остальное лишь отвлекает от дела. Не все ли равно, с чего началось, важно – чем кончилось. То самое «убийство из хулиганских побуждений» – иначе сказать, «беспричинное», ни с того ни с сего. Дивная формулировка, которая есть только в нашем законе. Формулировка, избавляющая от необходимости разобраться в реалиях происшествия и понять истоки того, что свершилось. Упрощающая работу недалеких людей. Да бывает ли в жизни хоть что-нибудь беспричинно?!

Нина совсем не была в восторге от моей идеи вести поиск на этом пути.

– Зачем это вам? – с каким-то испугом спросила она. Возможно, я не так ее понял, возможно, спросила и без испуга, но с тревогой бесспорно, это я сразу почувствовал. – Что даст? Убил не Петя – вот позиция, от которой нельзя отступать. А с чего началось, не все ли равно? С чего бы ни началось, убил-то не он, вот что самое главное. Разве не ясно?

Пришлось осадить:

– Свои адвокатские возможности вы уже показали. Теперь дайте мне показать свои.

Она сникла, помрачнела. Помолчав, произнесла две фра-

зы, которым значения я не придал и которые отыгрались – опять-таки для меня – только потом. Много позже.

– У нас в больнице есть один замечательный врач, который лечит с таким усердием, что больные потом умирают. Он очень старается, а они умирают.

– Вы отказываетесь от моих услуг? – прямиком, не выбирая обтекаемых слов, спросил я.

– Делайте, что хотите, – растеряв вдруг куда-то свою запальчивость, отозвалась она.

Мне дали свидание с Петушком – у него я пытался выведать, как же все-таки и почему началась эта «беспричинная» драка. И он тоже не был в восторге от моих дотошных вопросов. Я отыскал в показаниях одного из драчунов зацепку, хоть и невнятную, она дала мне возможность приступить к разговору: «Луганский стал приставать к ребятам…» Выходит, все же Луганский! Но что это значит: «стал приставать»? По какому хотя бы поводу, если не было никакий причины?

– Да просто так! Ну, как пристают? Вы разве не знаете?

– Знаю: по-разному, – мягко сказал я, не желая вступать с ним в полемику. – Оттого и стараюсь понять, не как пристают вообще, а как и кто приставал в твоем случае. Как это все началось?

– Как началось? А как начинается? Один что-то тявкнул, другой ему в тон, потом третий, четвертый… Слово за слово,

и вот уже кулаки… Хорошо еще, что за ножи не взялись, их и у нас, и у них было достаточно.

– Нет, но все же… Кто и как тявкнул первым? Кто был вторым и что конкретно второго задело? Можешь припомнить?..

Я поймал его взгляд: недоверчивый, подозрительный. И мутный какой-то, словно не в фокусе. Себе на уме. То ли ищет подвоха, то ли действительно не понимает, зачем мне все это нужно.

– Объясните, что вам даст, если я вдруг вспомню, кто первый, кто второй. Когда все выражаются… Как бы это сказать?

Я помог ему:

– Нецензурно…

– Вот, вот – нецензурно. Это же не записывают. И в суде не повторяют.

Пришлось усмехнуться:

– Ничего, я к мату привык. Ты вспомни те слова, что цензурные. Главное суть вспомни – понял? А нецензурные я уж как-нибудь сам подставлю.

– Зачем?! – не унимался он. – Что это даст?

Неужели они сговорились: он и сестра? И почему так уводят меня от дорожки, которая все более кажется мне перспективной? Чем настойчивее уводят, тем меньше мне хочется «увестись». И, что самое странное, ведь мой интерес вызван только желанием реально ему помочь, а сопротивля-

ются – и Нина, и он – так, словно я хочу навредить.

– Ну, какой же ты хулиган? – пытался я ему втолковать. – И ты, и твои приятели, и даже те ребята, которые были не с вами. Мирно сидели, мирно пили-ели, делились припасами, даже на расстоянии, и вдруг, словно оса укусила… В чем дело? Если ты вспомнишь, с чего все началось, можно будет понять, кто заводила, кто кому встал поперек, тогда легче найти действительно виновного. Тебе это ничем не грозит, может только помочь. Ведь между тобой и Луганским не было никакой вражды. Или, может быть, я не прав?

– Ничего не помню! – таким был категоричный ответ Петушка на мой монолог.

Сказал, как отрезал. Сразу видно: норов, как у сестры.

Ничего другого не оставалось – лишь следовать линии, избранной Ниной. Жевать-пережевывать все ту же обрыдлую тягомотину, на которой зациклилась Нина, – про куртку и шапку, твердить, стыдясь самого себя за слова, в которые нисколько не веришь, что все свидетели почему-то пристрастны и озабочены лишь одним: как бы им засадить Петушка, выгораживая таким путем Федюкова.

Позвонил другу-художнику, поворчал, что втянул он меня в безнадежное дело. Так и сказал: безнадежное. Ни малейших шансов на успех у моей жалобы нет. «Ты всегда канючишь, что безнадежное, – укорил он меня, – а потом хоть что-нибудь все равно получается». И напоследок уте-

шил тем, что известно давным-давно и без таких утешителей: лечить полагается даже совсем безнадежных больных. Но ждал-то он, думаю, вовсе не этого: не стал бы иначе ко мне обращаться.

Все вышло так, как я и предвидел. В областном суде жалобу с треском отвергли. В том смысле «с треском», что всадили в определение такие слова, коими вся моя аргументация (моя ли?!) объявлялась надуманной, абсурдной, произвольной, бездоказательной и какой-то еще – гораздо похуже.

Пожалуй, в этом не было слишком большой натяжки. Выступая в поддержку жалобы, я и сам чувствовал, что несу околесицу. Куда было бы лучше, а глядишь, и успешнее, если бы бил просто на жалость. Эта банальность, для которой не нужно большого ума, иногда вышибала слезу даже у наших непробиваемых судей: жесткий спор с обвинением их всегда раздражал, зато хныканье принималось как норма. Разбираться в сложности доказательств, в оценке улик, в юридической квалификации всегда слишком обременительно, а вот послушать златоуста, взывающего к чувствам добрым и к милосердию – это пожалуйста, ничьи извилины не колышет. Мне всегда была противна такая тактика, если в деле было хоть что-то, позволявшее оспорить участие в преступлении или вину моего подопечного. Если же не было ничего, что тогда делать?..

Почему бы не вымолить снисхождение? Ведь Пете в день

убийства не хватало семи дней до восемнадцати. Правда, только семи… Да хоть бы и одного! Суд на то и суд, чтобы уважать так называемую формальность: нет восемнадцати, значит – юридически – несовершеннолетний. Впрочем, и на этот мой, не высказанный к тому же, довод был бы, наверно, у судей готовый ответ: возраст уже учтен в приговоре, случись то же самое восемью днями позже, впаяли бы не десять, а все пятнадцать.

Нина зла на меня не имела. Призналась, что в успех не очень-то верила, но утопающий – не правда ли? – хватается за соломинку. И что, быть может, не все потеряно окончательно: ведь надежда умирает последней. Так и сказала, показывая начитанность, которая в моих глазах (просекла и это!) значила многое.

– Стену лбом не прошибешь, – словно вслух рассуждая, философствовала она. – Это все знают, а как дойдет до тебя самого, все равно начинаешь биться. Все тем же лбом… Как вы думаете, могут ему хоть немного скостить? Мальчик еще, а жизнь уже под откос.

Конечно, такую возможность полностью исключить было нельзя. Так что, ее утешая, я не слишком фальшивил. Время от времени мы перезванивались, иногда Нина заходила ко мне в консультацию: «ни для чего, просто так, зарядиться надеждой», – объясняла она свой визит. За то время, что прошло после первой встречи, она осунулась, у глаз появи-

лись морщинки, речь стала более нервной и руки уже не казались тонкими и изящными – вот теперь я тоже готов был увидеть в них силу, про которую мне говорил мой друг-художник. Кстати, однажды он мне позвонил лишь для того, чтобы рассказать, как медсестра ему благодарна: ведь это он свел ее с таким замечательным адвокатом! Благодарить меня было не за что, ничем замечательным, да и просто успешным, по этому делу я себя не проявил, это все понимали, но он уверял, что Нина не лжет.

– Она вообще никогда не лжет, – настаивал мой восторженный друг, – это светлый, добрый человек. Очень несчастный. И у нее золотые руки. Хочешь, она станет твоей массажисткой? Помолодеешь на десять лет.

Я посмеялся, вспомнив, как Нина просвещала меня насчет разных видов массажа, сказал, что с клиентами в неформальные отношения не вступаю, что в профилактике пока не нуждаюсь, так ей, значит, и передай. Хотя, по правде, очень нуждался: от бесконечных сидений за пишущей машинкой после напряженного рабочего дня адски ныла спина, руки слушались плохо, шея стала едва ли не деревянной, словом, массаж не помешал бы. Но Нина?! Этого еще не хватало…

В какой-то очередной свой приход она принесла мне кучу Петиных писем из колонии (отбывал он свой срок в Пермской области), просила убедиться, как парень страдает, – быть может, это подвигнет меня удвоить, утроить усилия, чтобы вырвать его из тех ужасных условий, вернуть семье,

дать возможность начать сызнова порушенную жизнь. Ни в каком допинге для своих профессиональных шагов я не нуждался, много слезливых просьб наотправлял уже и так в разные адреса и нигде не встретил сочувствия.

Письма, однако же, взял и прочел их, признаюсь в этом честно, на одном дыхании. Увы, они были без дат, и я кое-как, по содержанию – скорее всего, с ошибками, – выстроил их в какой-то ряд, хотя принципиального значения правильная последовательность все равно не имела. Опускаю скупые описания лагерной жизни – привожу только избранные места. Те, которые и в самом деле заслуживают внимания. Грамматика автора и его орфография оставлены без изменений.

«Родненькая моя Ниночка!!! /…/ Как тебе живется без меня? Мне без тебя просто никак нельзя. Я верю, что у нас все будет хорошо и что мы будем вместе. И даже скоро!!! А если не скоро? Об этом не хочется думать. Но все равно вся жизнь впереди. /…/ Крепко-крепко-крепко и даже еще крепче целую тебя».

«/…/ Пришли свои фотографии и наши где мы вместе. Отбери такие чтобы не отобрали ведь здесь все письма проверяються в обезательном порядке и следят строго. Ну ты сама понимаешь и разберешься. /…/ Я тебя очень люблю!!!» (Слово «люблю» подчеркнуто трижды.)

«Любимая моя сестренка!!! Я сегодня пол дня прыгал от

радости когда мне сообщили, что нам дают личное свидание и что ты приедешь одна. Личное по правилам дают женам и родителям, а братьям и сестрам только если они приезжают с ними т. е. всем скопом. А наш начальник у него ко мне хорошее отношение, я ему объяснил ситуацию как далеко отсюда Чита и денег на поездку у родителей нет, он все понял и разрешил.

Если бы ты знала как мне тебя нехватает!!! Как я тебя жду. Как мне плохо без тебя. Как мне хочется быть с тобой. Ты спрашиваешь, что мне привезти. Привези теплое белье, носки, кофе, грибы (если достанешь), что-нибудь из восточных сладостей с орехами которыми ты меня кормила по ночам (помнишь или забыла???), лимонаду хоть пару бутылок, московского, настоящего, жевачки, что-нибудь печеное. Но главное себя привези такую какую я помню и люблю. Я тебя очень и очень люблю. А ты меня? Только скажи правду. /…/».

«/…/ Два дня пролетели как две минуты. И вернуло меня к тому нашему счастью которое мы не ценили. Не знаю как ты, а я только вот когда ты уехала понял, что не ценил потому, что был глупый и ничего не понимал про жизнь. /…/ Теперь надо ждать целый год, чтобы опять увидеть тебя и обнять как всегда. Нет не как всегда, а как когда-то… Напиши только честно ты понимаешь, что я сейчас переживаю??? Просыпаюсь вдруг посреди ночи протягиваю руку, а тебя нет. Хотя вообще то сплю здесь как убитый. А поче-

му? Вкалываешь вкалываешь весь день заваливаешься и нет причин чтобы не спать. /…/ Крепко-крепко-крепко целую. Я тебя очень-очень люблю. А ты? Надеюсь тоже. /…/»

«/…/ Приближается положенное кратко срочное свидание. Дают часа два или три, я даже неспрашивал сколько, дают по-разному кто сколько заслужил. Но не больше чем три часа. Ты приедешь? Это свидание просто чтобы подразнить. /…/ Все равно мне так хочется хотя бы посмотреть на тебя. Все вспомнить и по глазам твоим понять, что и ты помнишь. И тоже веришь, что все будет хорошо.»

«/…/ Сестренка! /…/ Тебе еще не надоело ждать? Время идет. Ты же сама говорила. Помнишь, что ты говорила? /…/»

«Вот уже и третье день рождение вдали от родного дома /…/ Ниночка дорогая моя, ты просто должна мне все время писать, что любишь меня иначе мне даже не очень а совсем плохо. Ты всегда говорила мне это когда мы были вместе, а теперь мне это еще важнее. Просто намного важнее!!!»

«В твой День Рождение желаю тебе и мне тоже больше выдержки и терпения. Не унывай все невзгоды пройдут и мы снова будем вместе. И навсегда! Ведь правда??? /…/ Крепко-крепко целую тебя мою Ниночку».

(В связку писем, переданных мне Ниной, затесалось, между прочим, и коротенькое письмишко Петушка другой сестре, Кате, – вероятно, присланное ею Нине для ознакомления. Там такие строки: «Поздравляю с день рождение и желаю тебе больших успехов в учебе. Брат Петя».)

«/…/ Приближается хотя и не скоро еще очередное личное свидание. Старики пишут, что готовятся, собирают деньги и приедут всей семьей. Я им написал уже два письма чтобы не тратились и не мучили себя трудной дорогой. Но мать пишет чтобы я не писал таких глупостей, что они все равно приедут. Значит мы на все эти несчастные-разнесчастные два дня окажемся все вместе и никакое отдельное личное нам с тобой уже не дадут. Я ничего не могу с ними поделать, может быть ты сумеешь им внушить? Ты ведь так хорошо умеешь внушать!!! Попробуй сестренка, Ниночка моя дорогая /…/»

Комментировать эти письма, которые, не скрою, меня огорошили, конечно, не нужно. Все очевидно, все дико, все горько… Лишь одно я понять так и не смог: зачем Нина мне их дала, эти письма? Ни о чем подобном я ее не просил. Не было ни малейшей причины, чтобы сделать меня читателем этой интимной лирики. Содержание писем никак не могло повлиять на неведомых судей в верхах, если бы вдруг я вздумал использовать в жалобах избранные места из пылких любовных признаний. И, естественно, даже в страшном сне не могло мне привидеться, что я стану их где-то цитировать. Зачем же тогда?..

Вдруг меня осенило. Ведь это она ненавязчивым образом (нет, скорее навязчивым) дает мне понять, как был я нелеп в своем стремлении отыскать истоки побоища. Нелеп и да-

же опасен. Как мог оказаться в роли того врача, который с усердием лечит, а больные мрут от этих чрезмерных усердий. Докопайся я тогда до «мотива», может быть, догадался бы, что оказавшийся смертельным удар был точно осознанным и что нанес его именно Петя, а не кто-то другой. В отместку за оскорбление: «Луганский стал задираться»… Кого же он задирал? Незнакомых ребят, приехавших из Москвы покататься на лыжах? С чего бы?

Один из них, Витя Горный, обронил на следствии фразу, которую следователь и судья вообще не взяли в расчет. И я не взял тоже, ибо она повисла в воздухе, неведомо кем произнесенная и неведомо к кому обращенная. Придется ее привести такой, какой она записана в протоколе, без стыдливой цензуры: «Не знаю, кто точно, я их по именам никого не знал, кроме Пети, но кто-то с другого костра кричал: «Чего ты тут мерзнешь? Лети к своей проблядушке, пусть согреет». Вообще все местные чего-то орали, а мы, московские, не понимали, про что орут». Ясно, что такая конкретика («иди к своей…») не могла быть адресована приехавшим из Москвы незнакомым ребятам, за ней скрывалось нечто такое, что известно только тем, кто в нее посвящен.

Если версия эта верна, то и правда – удар Петушка, вступившегося за непорочность любимой сестры, выглядел бы как месть (какие там хулиганские побуждения!) и лишил бы защиту вообще какой-либо пристойной позиции. Даже не о чем было бы спорить… Но эта опасность мне вряд ли гро-

зила: зная истину, я бы все повернул по-другому. Была (и осталась) в законе иная формулировка: убийство, вызванное тяжким оскорблением со стороны потерпевшего. Наказание за него предусмотрено более мягкое. Намного более мягкое. Только вот ведь какой вопрос: признал ли бы суд крик Луганского – кстати, надо было еще доказать, что точно Луганского, а не кого-то другого, – признал ли бы он этот крик оскорблением? Тем более – тяжким? Пришлось бы раскрыть тайну, которая, как теперь очевидно, тайной была не для всех, но оставалась – брезгливости ради – темой запретной. Молчаливый такой уговор: об ЭТОМ ни слова…

– Скажите, Нина, – спросил я, возвращая ей письма, – скажите… – Я все никак не мог выдавить из себя произносимые вслух слова, хотя терять уже было нечего, а разыгрывать глупый спектакль просто нелепо. – Зачем вы дали мне на прочтение то, о чем я, наверно, знать был не должен? А вы, как я понимаю, захотели, чтобы я непременно узнал. Зачем? К делу это отношения уже не имеет. Тогда зачем? Вас гнетет эта тайна, и вы хотите сбросить с себя ее груз? Я вас правильно понял?

Мы долго, не мигая, молча смотрели в глаза друг другу, и, кажется, я не выдержал первым. Отвел взгляд, мучительно думая, как мне теперь продолжать разговор. О чем? И к чему? Адвокатскую свою обязанность я исполнил, роль духовника была не по мне. Тем более в ситуации столь порочной и столь греховной.

Когда я снова взглянул на Нину, она платком вытирала щеки, по которым продолжали катиться крупные, с горошину, слезы. Она положила в сумку Петины письма, тщательно стерла черные дорожки от слез на безжизненно белом, подурневшем лице и ушла, не простившись.

И тут вдруг вышел указ, который мог существенно изменить положение Пети. Молодых, здоровых и отбывших часть срока мужчин можно было из колоний отправить на «химию»: так называли те предприятия, каким-то образом связанные именно с химией, куда, за отсутствием добровольной рабочей силы, родная партия и родное правительство собрались спровадить полчища зэков. Это считалось мерой гуманной, да что там гуманной – высоким доверием родины, которое надо еще заслужить. Ведь на «химии» нет конвоя, жить можно с семьей, и трудом – не только «честным», но еще и «особо производительным» – заслужить досрочное освобождение.

Установлен был не то чтобы сложный, но достаточно громоздкий порядок перевода на «химию» (с легкой руки партагитаторов, ею тогда прожужжали все уши). И мне подумалось, что для Пети «химия», хоть и не сахар, но все же какой-никакой временный выход: он избавится от несвободы и сможет вновь обрести… Я не знаю, что бы он мог обрести, но соединиться с Ниной мог безусловно…

В звенигородской больнице, куда я позвонил, мне ответи-

ли, что медсестра Дочкина уволилась и что адрес ее неизвестен. Райотдел милиции сообщил по моему запросу, что с квартиры она съехала тоже и в Звенигороде больше не проживает. Оставалась последняя связь – мой друг-художник, чья любовь к массажу, возможно, еще не прошла. И она, действительно, не прошла! Нина Дочкина, рассказал мне он, бросила якорь в другом городе Подмосковья, который тогда еще назывался Ногинском, а теперь, наверно, снова стал Богородском, каким исстари был. Художник сам до нее дозвонился и сказал, что у меня есть для нее важное сообщение.

Она позвонила.

Вежливо, с несвойственной ей до сих пор церемонностью, поблагодарила за ценную информацию, не вложив, по-моему, в свою благодарность никакого сарказма. Сказала, что «должна хорошенько во всем разобраться» и что мне беспокоиться ни о чем не нужно.

– Мы с Петей справимся сами, – разъяснила она, давая четко понять, что моя миссия исчерпана. Окончательно и бесповоротно. И что мое беспокойство ей нежелательно. – Не уверена, что смогу поехать к нему: у меня здесь еще больше работы, чем было раньше, в Звенигороде. И потом…

Она замолчала. Мне показалось, что Нина борется с потребностью что-то сказать. Пауза затянулась. Разговор она заказывала через телефонистку, время истекло, Нина попросила продлить. Продлили.

Наконец, решилась.

– Я выписала из Читы Славу, младшего брата. Он здесь, со мной. И с ним много забот.

Славу… Я прикинул в уме: шесть лет назад ему было девять, теперь, стало быть, уже сравнялось пятнадцать. Ну, может быть, с хвостиком, но небольшим. В самый раз…

Плешь Ильича

Тот же самый друг-художник много раньше подбросил мне еще одно дельце, юридически не представлявшее интереса, но зато настолько забавное, что стоит о нем рассказать. Это скорее не история с закрученной интригой, а просто байка, тем замечательная, что создана не фантазией острослова, а самым дерзким из всех драматургов – судьбой, которая чужда усредненному «правдоподобию», то есть, проще говоря, сочинительству. Конечно, сочинительство бывает и очень ловким, но в пригнанности всех фабульных линий всегда видна тщательная продуманность, авторская воля, которая определяет и направляет заранее просчитанные поступки действующих лиц, тогда как в правде реального факта, напротив, всегда выпирают углы и явственно проступает порой какая-то нелогичность. Потому что у жизни своя логика, а у сочинительства совсем другая.

Именно к этому делу относится реплика друга-художника из рассказа о Петушке: «Ты всегда канючишь, что безнадежно, а потом хоть что-нибудь получается». К делу, от которого у меня не осталось вообще никаких бумаг – все было отправлено по инстанциям, а остаток возвращен виновнику торжества (в том-то и соль, что – торжества!), когда в наших с ним деловых отношениях была поставлена последняя точка. Я даже фамилию его не запомнил, ибо истории

той почти полвека, но сохранилась одна открытка, которую мой подопечный на радостях отправил вовсе не мне, а нашему общему – увы, уже покойному – другу. Под восторженным текстом подпись, так что без напряжения памяти я могу восстановить хотя бы его имя: Илья. Открытке тоже найдется место – под занавес короткой этой истории.

«Хоть что-нибудь получается…» Что тогда получилось, тоже станет ясно в конце. Дело это касалось коллеги моего друга-художника – гравера из Молдавии, с которым они там и встретились, в каком-то винном погребке, хорошенько наклюкались и объяснились друг другу в любви. И, как водится, когда грянул гром, молдавский гравер вспомнил про своего столичного друга, а тот – в ту пору еще стопроцентно московский, а не звенигородский ваятель, – естественно, про меня.

Если точнее, цепочка протянулась ко мне, когда гром не грянул, а уже отгремел, и молния, соответственно, тоже успела ударить куда надо – прямо в темячко горемыки. Теперь предстояло его выводить из агонии, если не из клинической смерти. Мне часто, увы, доставалась эта незавидная роль: реанимировать умирающих. Оттого и удач было меньше, чем могло бы, наверное, быть. Почему-то расчет на подручные средства, надежда на чудо, которое без особых усилий спасет от напасти, владеют умами многих людей, попавших в беду. Скорее, впрочем, владели: сейчас время заста-

вило быть прагматичнее, избавило от иллюзий и приучило принимать меры не после, а до. То есть не тогда, когда приговор уже вынесен, а когда еще можно хоть как-то на него повлиять.

Скажу, однако, справедливости ради, что в деле Ильи, даже если бы общий наш друг вспомнил обо мне своевременно, я вряд ли бы смог хоть в чем-то помочь. Не то что воров, но и убийц было легче в те годы вытаскивать, чем таких негодяев, которые – ни много, ни мало – возомнили себя монетным двором! А именно этим и отличился Илья, безвестный гравер и художник из молдавской провинции…

После развода остался он без жилья, покинул родной Кишинев и устроился в каком-то неприметном селе или, скорее, в маленьком городе. Заказов почти никаких не имел, пробавлялся случайными заработками не по своей прямой специальности: устраивал районные выставки, украшал павильоны, малевал для помпезных досок почета портреты передовых виноделов и скотоводов. Новой семьей не обзавелся, жилья своего не имел, снимал, хоть и за бесценок, чужие углы. И ни о чем другом не мечтал – только бы накопить на свой, пусть даже крохотный, но личный домишко. Купить почему-то было дешевле и проще, чем поставить дом самому. Но и на то, что дешевле, тоже не было денег.

Безумная мысль пришла в голову не сразу, и все же пришла. Уж сам-то знал, какой он умелец и на что способна его рука. Середина пятидесятых: страна еще только-только на-

чала раправлять плечи, освободившись от сталинских кандалов, в обращении были все еще дореформенные, большого размера, бумажные деньги, то есть те, у которых Хрущев в шестьдесят первом уберет лишний ноль и сильно сократит их размеры, подняв тем самым цены на неслыханную высоту. (До сих пор помню свое удивление: за пучок укропа, который накануне реформы стоил десять копеек, в первый же день ее действия с меня запросили не одну копейку, как вроде бы полагалось, а те же десять.) Тогда цены еще не кусались, и для исполнения своей мечты Илье было нужно не так уж и много.

Он работал, не торопясь, с присущим ему старанием, сделал эскизы всех крупных купюр, шлифовал каждый мельчайший штришок, клишировал, ретушировал, снова клишировал и пришел, наконец, к выводу, что лучше всего получаются сторублевки, то есть будущие «красненькие» – десятки. Тогда и была отлита им форма и запущен в сарае кустарный печатный станок.

Илья действовал осторожно и за быстрым результатом не гнался. Когда увидел, что дело наладилось, не впал в эйфорию, а, напротив, дал себе передышку, потом другую – боялся спугнуть удачу. Механизм, который он разработал, был прост и надежен – до того момента надежен, пока его не разгадали и не приняли надлежащих мер. Но лопухов у нас было навалом, ни о какой разгадке речь пока что не шла, а меры, которые приняли на бумаге, так на ней и остались: в круг

подозреваемых Илья не попадал.

Он уезжал достаточно далеко, непременно за пределы Молдавии. На Одессщину, Львовщину, в Буковину – под Черновцы, – и в маленькой лавке, а то и просто на рынке, сбывал свою сторублевку, покупая разную мелюзгу. Что-нибудь вроде зубной щетки, катушки ниток, набора карандашей. Или стакан разливного вина. Смущенно извинялся: нет ни одной мелкой купюры, пуст кошелек, а «предмет» нужен до крайности. Иногда и просто просил разменять. И почти всегда – безотказно. Лучше всего получалось не в магазинах. Частники – иначе сказать, простые советские пейзане – охотно откликались обычно на подобные просьбы. Они приохотились складывать большие купюры в чулки и кубышки: так их было легче хранить. Спрятанная в чулок, купюра не могла попасть на глаза контролерам, что значительно уменьшало степень риска.

Но все же немалая часть его сторублевок, пройдя через руки многих владельцев, в конце концов добиралась до банка, и машина, к тому приспособленная, выплевывала их, пронзительным звоном оповещая о выловленной фальшивке. При каждом таком сигнале к поиску злоумышленника немедленно подключалась местная госбезопасность: изготовление поддельных дензнаков относилось к категории особо опасных государственных преступлений, угрожающих самому существованию советской власти. Сведения о каждой обнаруженной фальшивке немедленно отправлялись в

Москву, где экспертную службу несли специалисты высочайшей квалификации.

Они без труда установили, что все отловленные купюры тиснуты с одной и той же отливки и имеют одно и то же происхождение. Установили и то, что производитель фальшивок не является дилетантом, что он скорее всего профессионально причастен к изобразительному искусству. Круг ведущихся поисков был, таким образом, сужен. Хотя – что значит сужен? Причастных к искусству у нас и тогда было пруд пруди, так что узкий круг все равно оставался довольно широким.

Была и еще одна сложность, затруднявшая поиск, – сложность, специально созданная для сыщиков хитроумным Ильей. Столь удачно изготовленное клише (ни один человек, державший фальшивку в руке, ни разу не усомнился в подлинности купюры!) должно было, по всем разумным правилам, понудить печатный станок работать безостановочно – гнать монету, чтобы как можно скорее, пока не очухались и не засекли, иметь максимальный навар. Между тем в руки сыщиков попала отсеянная банковской техникой сущая мелочь: несколько десятков тогдашних сотенных – в общей сложности не то на четыре, не то на пять тысяч рублей. Остальные, как мы знаем, осели в чулках. Но и остальных было не так уж и много. С привычной логикой поведения изготовителя подложных банкнот это никак не вязалось. Отказ от стереотипного поведения фальшивомонетчика как раз и

входил в замысел Ильи, хотя он вряд ли формулировал для себя линию своего поведения. Просто действовал по интуиции. С повышенной осторожностью.

Поиск преступника вели в тех районах, где отловили фальшивки. Молдавия и все прилегающие к ней области Украины тоже попали в зону проверки. Что именно делалось, мне не известно, – факт остается фактом: на след Ильи не напали.

В течение нескольких месяцев ни одной новой фальшивой купюры банки не отловили. Казалось, преступник свернул свое производство. Но вдруг самодельная сотня выплыла где-то в Челябинской области. Потом еще несколько – много! – в Омской и Томской. И все – с того же клише. Это Илья решил сменить географию, отправился на Урал и в Сибирь менять свою взрывную продукцию на мелкие, но законные. Одновременно решалась другая, не менее важная задача: дать всем, кто хорошо знал, каков его реальный достаток, объяснение своему внезапному обогащению. Как бы иначе он смог купить даже дешевый дом? Илья раструбил, что уезжает на заработки в Ташкент: какой-то его приятель-коллега устроил работу, за которую будут прилично платить.

Не то что в Ташкент – ни в один уголок Средней Азии его нога не ступала. И ни одной фальшивой сотни там, естественно, так и не всплыло: Илья ловко крутил интригу и все предусмотрел. И вернулся в родные края со следами загара, который вполне мог сойти за узбекский. Потому что ле-

том, на берегах Иртыша и Оби, кожа чернеет ничуть не хуже, чем где-нибудь на Памирских склонах. Сошло!.. Нужная сумма – на уютный, непритязательный домик – уже собралась. И домик был куплен. Подозрений это не вызвало. Не вызвало лишь потому, что скромный достаток Ильи никак не бросался в глаза. Его образ жизни – прежний и нынешний – ничем не отличался от образа жизни всех окружающих. В тех краях достаточно, кстати сказать, высокого – по тогдашним российским меркам.

Теперь у гравера уже не было нужды искать приют под чужими крышами, и он даже мог, спасаясь от одиночества, приглашать гостей из Кишинева, а то и еще откуда подальше. На приглашения откликались охотно: благодатное место, чистый, ухоженный дом. Фрукты, вино… Один из приезжих, тоже художник, из русской глубинки, так загостился, что, считая не слишком удобным злоупотреблять хлебосольством хозяина, предложил ему небольшую плату, чтобы пожить в благодатном краю на правах нанимателя, а не гостя. Это было тем более кстати, что с деньгами у Ильи опять возникли проблемы, а от зарока, который он сам себе дал, отступать не хотелось.

Зарок состоял в том, что печатный станок навсегда прекратит работу, как только он наштампует точно на дом! Наштамповал – и ушел на покой… Но уничтожен станок все-таки не был. Бережно завернутое в тряпье, обмотанное плот-

ной пленкой, а поверх еще и брезентом, клише было временно погребено в яме на краю черешневого сада. Борясь с искушением (ведь так славно все обошлось!), Илья ни разу себе не позволил запустить его снова, справедливо, наверное, полагая, что негоже играть с судьбой, коль уж она оказалась такой благосклонной. Кормили все те же доски почета, да еще и рисуночки, которые он делал для районных газет. Этих крох хватало на пропитание, а на большее Илья не претендовал: лишь бы не оказаться на тюремном пайке.

И тут вдруг, когда жизнь худо-бедно наладилась – мечта сбылась и возмездие обошло стороной, – Илью вызвали в райотдел милиции. Повесткой – со строгим предупреждением об ответственности за неявку. Было несколько странно, что не нагрянули с обыском без всяких предупреждений, не заковали в наручники, а дали отсрочку почти на неделю – за это время и сбежать можно, и орудие преступления уничтожить. Но хитрый «их» маневр Илья разгадал. Попытайся он бежать, был бы тут же схвачен и дал бы сам против себя серьезнейшую улику: стало быть, есть от чего скрываться. Попытайся уничтожить клише, был бы тоже схвачен на месте – ведь за ним, ясное дело, следили!

Он покорно явился по вызову, доверившись пока что ни разу ему не изменившей судьбе.

– Вы понимаете, конечно, зачем вас пригласили? – с напускной важностью спросил милицейский майор.

По должности ему бы от силы быть капитаном, но горо-

дишко, где Илья купил себе дом, располагался невдалеке от румынской границы. Входил в так называемую пограничную зону, где даже на скромных постах восседали офицеры относительно высокого ранга. Граница отделяла могучий Союз от дружеской, если не братской, страны из братского же соцлагеря, но режим в пограничной зоне ничем не отличался от режима на рубежах с Финляндией или Турцией. Цену этому братству в Москве хорошо знали.

– Будете сами писать объяснение? Или допрос, как положено? – не без ехидства уточнил майор и пронзил сникшего разом гравера суровым взглядом.

– Так с этим делом давно закончено, – пролепетал Илья. – Добровольный отказ… – Вероятно, он заранее вычитал в законе такую формулировку, дававшую право на снисхождение, а то и вообще на прощение. – Больше ничем подобным не занимаюсь.

Майора сильно задела эта наглая ложь. Он в точности знал, что Илья по-прежнему «занимается» тем, из-за чего и пришлось направить ему повестку, и вот, вместо чистосердечного раскаяния, за которым, на самый худой конец, мог бы последовать штраф, пытается запудрить мозги.

– Ложью вы только ухудшаете свое положение, – пригрозил майор. – Советую держаться поближе к правде, это в ваших же интересах.

Он дал ему лист, ручку с пером, как в начальной школе – в те еще, безмерно далекие, времена, – пододвинул чер-

нильницу и предложил написать объяснительную: «все, как есть». И тогда – только тогда, сказал он – будет принято решение, что с ним, нарушителем, делать.

Текст покаяния у меня не сохранился, но он мало чем отличался от того, который я воспроизвожу по памяти.

«Добровольно сообщаю, что с изготовленного мною клише было отпечатано незначительное количество сторублевых купюр на общую сумму порядка двадцати пяти или тридцати тысяч рублей или чуть больше исключительно для покупки дома, поскольку мне негде было жить. После накопления указанной суммы и, расплатившись полностью за выбранный мною дом настоящими, а не фальшивыми деньгами, я сразу же добровольно отказался от дальнейшего печатания и вот уже в течение почти трех лет не напечатал ни одной сотни. Клише спрятано в саду моего дома. Оно, по моим расчетам, уже разрушено или сгнило и во всяком случае не пригодно для изготовления денег. Место его хранения могу указать и добровольно выдать милиции».

Майор читал этот текст и, думаю, чувствовал, с какой опасной скоростью заколотилось его сердце. Возможно, сначала он толком даже не понял, о чем идет речь. Про розыск фальшивомонетчика во вверенном ему регионе майор информирован не был: госбезопасность про свои акции милицию не извещает, разве что просит докладывать о подозрительных лицах. Но ни под каким подозрением Илья не пребывал.

Читатель, наверно, уже догадался, что вызов Ильи в милицию никакого отношения к его денежной афере вообще не имел. В приграничной зоне, даже если въезд в нее не требовал пропуска, ни одно лицо не могло находиться без регистрации более суток. Бдительные соседи, половина которых, если не больше, состояла в милицейских осведомителях, просто донесли о жильце из России, временно взятом Ильей на постой. Если тот квартировал у него бесплатно, Илья нарушил правила регистрации. Если за деньги, то плюс к этому еще и правила налогообложения. В любом варианте его ждал, как уже сказано, штраф. Притом – совершенно ничтожный…

О том, каким был истинный милицейский замысел, когда отправлялась повестка, и какой, плачевной и водевильной, ситуацией он обернулся, Илья узнал только в суде, где как свидетеля допрашивали майора. До тех пор Илья был искренне убежден, что сыщики все-таки вышли на след и что он, сочиняя свое покаяние, действовал правильно – избавлял себя таким образом от самого худшего. А каким может быть это худшее, он, вступая на рискованный путь, знал тоже. Трудно поверить, но фальшивомонетчикам по советским законам тех лет грозила ни много ни мало смертная казнь. Но до нее не дошло. Все смягчающие вину обстоятельства перечислены в приговоре: добровольный отказ от продолжения так называемого «длящегося» преступления; относительно небольшой урон, который понесла советская денеж-

ная система; добровольная выдача орудия преступления – откопанное из-под черешневого дерева клише действительно сгнило наполовину.

Итог был такой: лишение свободы сроком на двадцать пять лет с конфискацией, естественно, дома. Гуманный итог.

На этой стадии дело как раз и попало ко мне.

Строго говоря, оно попало ко мне не на этой, а на еще более поздней стадии. В том смысле более поздней, что Илья уже отсидел года три в одной из молдавских колоний и имел за спиной зэковский опыт, который не слишком привычен для советских реалий. Как любому понятно, арестанты с такой редкой профессией резко выделялись из лагерного контингента. Всяческие стенды, наглядные пособия, доски почета, портреты вождей и прочая непременная утварь любого советского учреждения необходима была за проволокой ничуть не меньше, чем там, где ранее, как и все вольные граждане, наслаждался жизнью Илья. К тому же он, свободно владея кистью и карандашом, создавал не только портреты кремлевских бонз для лагерной парадной аллеи и начальственных кабинетов, но и портреты самих начальников с их женами, чадами и друзьями. И это Илье обеспечило «за проходной» такой режим благоденствия, который ему и не снился, пока он был на свободе. Что лишний раз подчеркнуло, к слову сказать, сколь относительным было само понятие пресловутой свободы в те, теперь уж далекие, времена.

Но ценный зэковский кадр, как посчитало лагерное начальство, мог стать еще более ценным, если бы удался совсем уже дерзкий номер, на который оно смело решилось. В республике был объявлен анонимный открытый конкурс на создание памятника – Ленину, кому же еще? – для центральной площади города Бельцы. Или Бендеры – точно не помню. Кажется, все-таки Бельцы. Какой город мог обойтись без памятника Создателю? А вот Бельцы (Бендеры?) как-то до тех пор обходились. И теперь этот пробел предстояло заполнить.

Проекты представлялись под девизом – имя автора, его адрес и статус оставались неизвестными до тех пор, пока жюри не скажет своего последнего слова. Даже не победителю, а всего лишь призеру, были обещаны немалые, по тем, естественно, временам, деньги. И вот лагерное начальство решилось на нечто, до сих пор беспримерное. Проявило инициативу, которая при удачном исходе могла даже стать добрым уроком и для других лагерей (официально: колоний), где, вполне вероятно, тоже могли отыскаться таланты. Покровители искусств в офицерских мундирах мечтали не только о премии и гонораре, которые они разделят с ваятелем (в свою, естественно, пользу), но и о добавочной звездочке на погонах. Никого ни о чем не уведомив и создав Илье условия для взлета его вдохновения, они освободили узника от всех прочих работ: твори образ Создателя!

Илья никогда раньше не занимался скульптурой, но ведь

недаром же говорят (никак не могу вспомнить в точности эту пословицу), что даже зайца можно выучить игре на барабане. А тут все-таки – живописец, график, гравер… Короче, в точно установленный срок, с соблюдением всех формальностей, конкурсный проект под девизом «Патриот Родины» (это масляное масло, поверьте, придумал не я) был представлен на суд жюри. В гипсе, конечно, – не в камне. И в скромном масштабе.

Сесть и не встать!!! «Патриоту Родины» досталась вторая премия – при том, что первая не присуждалась вовсе. Такой была ставшая традиционной практика множества конкурсов советской эпохи, побудившая кого-то из наших сатириков сочинить смешную репризу: бегун Х. выиграл стометровку, но судья решил присудить ему второе место, а первое не давать никому. Словом, полный атас!.. Получив заключение конкурсной комиссии по условному адресу, указанному, вместе с девизом, на запечатанном конверте, лагерное начальство устроило крик на лужайке (даже в прямом, а не только в иносказательном смысле), где стакан молдавского каберне, вопреки всем существующим в зоне правилам, достался и виновнику торжества.

Текст заключения судейской коллегии сохранился у моего приятеля, который и подкинул мне дело Ильи: обалдевший от счастья новоявленный скульптор не удержался, конечно, от редкой возможности похвастаться грандиозным успехом – подал-таки звонкий свой голос из-за глухих ка-

менных стен.

Вот лишь несколько строк из этого заключения, наиболее выразительных: «Автор проекта под девизом «Патриот Родины» с любовью и творческим вдохновением, проявив высокое профессиональное мастерство, создал монументальный скульптурный портрет основателя Советского государства… Критические замечания вызывает, однако, произвольная трактовка волос товарища В. И. Ленина на затылке. При доработке проекта и доведении его до стадии возможного использования этот недостаток должен быть устранен в соответствии с той трактовкой волосяного покрова головы товарища В. И. Ленина, которая утверждена Институтом Маркса-Энгельса-Ленина, а исправленный вариант согласован с этим институтом и партийными инстанциями».

Не приходится сомневаться: лишь сомнительная трактовка плеши Владимира Ильича помешала Илье схлопотать первую премию. Припоминаю, что в «Объяснительной записке», которую он направил жюри после объявления результатов конкурса, «Патриот» согласился «устранить неоправданные завитки» вокруг пресловутой плеши и привести ее «в соответствие с каноническим образом вождя мирового пролетариата». Беда состояла в том, что сама возможность осуществления им этих благих намерений оказалась – а могла ли не оказаться? – под большущим вопросом. После того как жюри приняло свое решение, конверты с девизами были вскрыты, имя автора перестало быть тайным. Разра-

зился скандал.

Вместо новых звездочек на погонах и золотого дождя благодетелей искусств ожидал жесточайший разнос на коллегии МВД («кощунственный заказ на создание скульптуры В. И. Ленина для городской площади особо опасному государственному преступнику»), новое назначение с понижением в должности и (что, быть может, хуже всего) смена климатического пояса, ибо служба в Молдавии и служба (даже на равном посту) в северном Зауралье далеко не одно и то же. И все – за обман, а вовсе не за кощунство! Вырастили в колонии столь ценный злак и – надо же! – втихаря! Без какой-то там генеральской санкции. То есть, если попросту, не поделили шкуру того медведя, которого еще предстояло убить. Скупой, как известно, платит дважды. Если не трижды…

Зато Илья отделался пустяком. Даже остался в той же колонии. Ну, лишился гонорара и премии. Так ведь поделом: не наноси ущерба державе. Ну, лишился еще права на авторство. Плешь Ильичу поправил кто-то другой. Истукана с протянутой рукой все равно в Бельцах (Бендерах?) воздвигли – лучше, чем у Ильи, не получилось ни у кого. Монополист!.. Ведь (чуть не забыл!) другим-то вообще никакой премии не обломилось: даже на третью достойного не нашлось. А имя творца вдохновенного монумента предпочли засекретить, сделали памятник анонимным – никто про имя и не спросил: не все ли равно? Так и осталось это важное городское событие государственной тайной.

Скандал вокруг памятника оказался, как я понимаю, толчком, побудившим Илью обратиться к московскому другу, а тот, естественно, перебросил его ко мне. Илья, ни на что уже не надеясь, просил разобраться, сколь правомерно его ограбили, лишив денег и авторства. Иначе сказать, просто украв результаты его труда. Юридически его правота была несомненна: никаким законом не была предусмотрена возможность лишить осужденного авторских прав, как и вознаграждения за принятый труд, гарантированный к тому же по условиям конкурса. Участвовать осужденным в творческих конкурсах закон тоже не запретил. Но я-то знал, на каком расстоянии от законности находилась в родной державе реальная жизнь! И решился извлечь из минуса хоть какой-нибудь плюс.

Написал жалобу генеральному прокурору и главе Верховного суда СССР. Получилась, однако, не жалоба адвоката, а постыдная смесь льстивой слезливости («зная Вашу гуманность…», «не сомневаюсь, что Вы войдете в положение глубоко страдающего, одинокого, больного человека») и пафосной демагогии («не может верховная судебная власть остаться равнодушной к судьбе жестоко провинившегося, но искренне раскаявшегося таланта, доказавшего способность посвятить свое творчество служению нашей социалистической родине»). Не знаю, случалось ли еще в судебной практике, когда аргументами в поддержку жалобы по уголовному делу

о государственном преступлении служили протоколы художественных советов и заседаний жюри. Но других аргументов в моем распоряжении не было.

И надежды тоже не было никакой. На милость к фальшивомонетчикам рассчитывать не приходилось. Генеральный прокурор почему-то вообще не ответил – принял, я думаю, мое прошение не за жалобу адвоката, а за частное, что ли, письмо. А вот из Верховного суда ответ хоть и задержался, но все же пришел.

«С учетом характеристики личности осужденного, вставшего на путь исправления, – коряво, но четко было сказано там, – его творческих успехов и чистосердечного раскаяния», приговор изменен, срок наказания сокращен с двадцати пяти до пятнадцати лет. Пожалуй, десять лет свободы стоили тех денег, которые завистливые и злобные генералы украли у смиренного зэка. И даже авторства на спорную плешь Ильича, что, пожалуй, обидней всего.

«Ты просто гений! – написал Илья в открытке, адресованной своему (и моему тоже) другу-художнику. – А твой адвокат еще гениальнее. Сегодня мне объявили под расписку о сокращении срока и даже разрешили по этому случаю написать внеочередное письмо, точнее, открытку. Торжественно клянусь обоих вас изваять и поставить на площадях, чтобы все знали про настоящих гениев и настоящих друзей. Но для этого придется подождать еще десять лет, пока не выйду на

свободу. Пью ледяную воду при нашей жаре за ваше здоровье. Вино выпьем после. Илья».

Кто и как ему в дальнейшем способствовал, – этого я не знаю. Помнится, как-то узнал, что пришлось Илье после этой нежданной, без особых хлопот свалившейся с неба победы отбывать не десять лет, а всего лишь пять. Или даже четыре. Какое-то время спустя в Кишиневе, куда попал на сей раз не по адвокатским, а журналистским делам, я повстречался с одним архитектором, который кое-что знал о его дальнейшей судьбе. Илья снова женился на «разведенке» из Черновиц, и та в самом начале семидесятых увезла ваятеля за границу. Она имела право, а ему никто не препятствовал: невелика потеря…

Перед отъездом Илья отыскал своего благодетеля, который, позарившись на шальные деньги, создал ему в лагере скульптурную мастерскую. Тот все еще, где-то в Сибири, дослуживал стаж, чтобы выйти на пенсию и вернуться в Молдавию. Отыскал – и на средства небедной жены послал ему щедрый подарок. В память о прошлом – с припиской: «признательный И.» Настолько, видимо, щедрый, что, не зная о том, каким точно он был, этот подарок, о нем говорил «весь Кишинев». Даже если все это лажа, даже если «весь Кишинев» свелся к паре-другой хороших знакомых, все равно слух говорит сам за себя.

Будто бы много позже, когда наступила иная эпоха, «Патриот Родины» вновь побывал на полях боевой славы и возло-

жил цветы к тому постаменту, где вместо плешивого Ильича высился уже иной народный герой. У которого с шевелюрой не было никаких проблем. Ну, а мест для изваяний двух истинных гениев – моего друга-художника и меня самого – в тех краях, естественно, не нашлось. И никогда не найдется. Ошалевший от радостной вести Илья просто погорячился, торжественно пообещав запечатлеть нас в камне и бронзе, хотя мы ему простили бы любую трактовку поредевших наших волос.

Кольцо

Труп нашли утром. Он лежал поперек пешеходной дорожки, и в предрассветной темноте на него наткнулся ранний прохожий. Подумал, что пьяный – свалился ночью и замерз. Но, присмотревшись, увидел на снегу темное кровавое пятно, запекшееся ледяной коркой.

На крик поднялась вся улица – бежали, натягивая ватники и шубы прямо поверх белья. В суете и спешке затоптали следы. Когда прибыла наконец милиция, никто уже не в силах был отличить, где старый след, где новый. Служебная собака, потоптавшись, так и осталась на месте, виновато глядя на поводыря.

Труп успели повернуть и даже обшарить карманы – не терпелось узнать, кто он, этот несчастный парень с зияющей раной на голове. Документы были на месте: убитого звали Антон Гусаров, учился он на втором курсе пединститута и от роду ему еще не было двадцати лет.

С чего начать? Какие улики искать и где? Любая версия, которую выдвигал следователь, тут же отвергалась, не выдерживая напора несомненных и доказанных фактов.

Месть? Но у Антона не было врагов. Ни с кем он не ссорился, никому не переходил дорогу. Допросили десятки студентов, преподавателей, знакомых, соседей – и без результата.

Зависть? Какие могли быть завистники у Антона? Чему завидовать – отметкам в зачетной книжке? А больше ничем он прославиться не успел.

Корысть? Проверили даже эту версию, сколь бы абсурдной она ни казалась: ведь студенческая стипендия – весь доход Антона Гусарова.

Дело было в начале тридцатых – отец Антона погиб еще на гражданской, воюя то ли за белых, то ли за красных, то ли вовсе ни за кого – попался кому-то под горячую руку. Из редких писем жене, чудом дошедших, можно было понять, что сначала он дезертировал, потом, скитаясь, прибивался на время к каким-то частям. Пытался добраться до дома – не удалось. Мать Антона, учительница, умерла несколько лет спустя. Соседи и друзья не дали пропасть мальчишке. Был еще старший брат, работал в Харькове на заводе, кормил свою семью. Когда Антону было совсем худо, брат затягивал поясок потуже, шел на почту, и Антон получал перевод…

Но ведь преступник, ожидающий в темноте прохожего-одиночку, обычно не изучает заранее достаток будущей жертвы. У него свой профессиональный риск: иногда повезет, иногда промахнется. В любом случае он ищет добычу, ради которой убил. На этот раз при убитом остался бумажник, где почти вся стипендия, полученная три дня назад, и часы – хоть и плохонькие, но все же часы. При конфискациях, например, в те годы их относили не просто к «имуществу», они попадали в категорию «ценности» – протоко-

лы и «описи» содержали тогда такую графу. Убийца Гусарова «ценность» почему-то не взял. И просто «имущество» – деньги – не взял тоже.

Не нашлось только перстня, грубого металлического перстня, который Антон всегда носил на правой руке. Это было такой редкостью в те времена (студент с кольцом!), что запомнилось всем.

Харьковский брат рассказывал: этот перстень носил когда-то отец. Массивное кольцо из меди («самоварное золото», – говорила мать) он купил где-то на барахолке. А порадоваться ему не успел. Через несколько месяцев его забрили в армию (то ли красные, то ли белые…) – уходя, перстень оставил дома. «Может, и не вернусь», – сказал он, прощаясь. Когда отца убили, перстень стала носить мать. В кольце была потайная ниша: туда положила она крохотное фото отца.

Цена перстню грош, но для Антона это было не просто кольцо, а память. После смерти матери он с ним не расставался. И вот его нет…

Эта пропажа подтверждала, казалось, версию об убийстве ради наживы. Ведь убийца мог и не знать, что кольцо из меди, для несведущего оно вполне гляделось как золотое. Массивное. Не самоварное, а червонное.

Где гарантия, однако, что кольцо не снял кто-то из доброхотов, суетившихся возле трупа? Сколько их там было – в давке и темноте? Мог затесаться и мародер. Без единого доказательства, даже самого захудалого, версия о корыстном

убийстве не имела никакой перспективы.

Шаг за шагом, минута за минутой восстановило следствие последний день Антона Гусарова. Ничем не примечательный день. Вечером был в городской читальне. Ушел едва ли не последним. Один. Труп нашли на улице, по которой он всегда ходил, возвращаясь из читальни домой – никогда не просыхавшую комнатенку снимал он почти задаром у доживавшей свой век бывшей служанки бывших господ. Та жила у дочери, нянчила внуков, у себя не бывала неделями и ничего про Антона рассказать не могла.

Все говорило за то, что убили его именно здесь – там, где был найден труп. Притом сразу – одним ударом. Наповал, как принято говорить. Орудия убийства найти не смогли.

Об Антоне скорбели его друзья – парень он был хоть и не компанейский – читальня была ему милее студенческих посиделок, – но приветливый и не скряга. У самого денег в обрез, а на папиросы никому не отказывал и куском колбасы охотно делился. Провожать его в последний путь пришел чуть ли не целиком весь институт. Больше всех убивалась Лида Ветрова, студентка из той же группы, что он. Это казалось странным: ведь подругой Антона ее никогда не считали. Невестой – тем более. А на похоронах рыдала, словно жена: слишком уж сильно, если просто знакомая…

Загадочное преступление, убийство тем более, всегда обостряет внимание окружающих, заставляет их подмечать

все необычное, странное, житейской логике недоступное. С их помощью раскрыто немало дел. Опытный следователь никогда не позволит себе отмахнуться от каких бы то ни было подозрений особо бдительных граждан. Не отмахнулся и «наш».

– Вы любили Гусарова? – спросил он у Лиды.

– Вовсе нет, с чего вы взяли? – возмутилась она.

– Почему же вы так переживаете его гибель?

– Каждый переживает по-своему. У могилы, по-вашему, не плачут, а веселятся?

«Повышенно возбудима, чрезмерно эмоциональна, – писал о ней следователь в докладе своем прокурору, давая характеристику главным свидетелям. Прокурор затребовал этот доклад, когда следствие явно зашло в тупик. – На вопросы отвечает нервно и дерзко. Скорее всего, что-то знает, но упорно скрывает. Ничем, что говорило бы о ее причастности к преступлению, следствие, однако, не располагает».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.